

Девушка из Германии

Автор:

Армандо Лукас Корреа

Девушка из Германии

Армандо Лукас Корреа

Novel. Актуальное историческое

Роман переведен на 15 языков, издан в 30 странах и будет экранизирован продюсером фильмов «Отступники» и «Остров проклятых».

Книга основана на реальных событиях.

Берлин, 1939 год. Ханна Розенталь – еврейская девочка с арийской внешностью, и теперь, когда улицы Берлина увешаны зловещими флагами, ее семье больше не рады на родине. Проблеск надежды появляется в виде лайнера «Сент-Луис», обещающего евреям убежище на Кубе. Но корабль, который должен был стать их спасением, похоже, станет их гибелью.

Семь десятилетий спустя в Нью-Йорке, в свой двенадцатый день рождения, Анна Розен получает странную посылку от неизвестной родственницы с Кубы, ее двоюродной бабушки Ханны. Анна и ее мать отправляются в Гавану, чтобы узнать правду о загадочном прошлом их семьи.

Армандо Лукас Корреа

Девушка из Германии

Моим детям: Эмме, Анне и Лукасу

Ане Марии (Карман) Гордон, Джудит (Киппель) Стил и Герберту Карлинеру,
которые были ровесниками моих детей, когда поднялись на борт «Сент-Луис»
в порту Гамбурга в 1939 году

Вы мои свидетели.

ИСАИЯ 43:10

Воспоминания – это то, что я предпочла бы забыть.

ДЖОАН ДИДИОН

Armando Lucas Correa

THE GERMAN GIRL

Copyright (c) 2016 by Armando Lucas Correa

Atria Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., is the original publisher

© Норова-Лукина В., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Часть первая

Ханна и Анна

Берлин – Нью-Йорк

Ханна

Берлин, 1939

Мне почти исполнилось двенадцать, когда я решила убить родителей. Решила со всей серьезностью. Я лягу в постель и дождусь, когда они уснут. Это всегда было легко определить: папа, как обычно, закроет большие, тяжелые окна с двойными рамами и задернет плотные зеленые, с бронзовым отливом, шторы. В очередной раз он повторит то, что говорил каждый вечер после ужина, уже более разнообразного, а не просто дымящейся миски безвкусного супа.

– Ничего не поделаешь, все кончено. Нам нужно ехать.

Потом мама начнет кричать и попрекать его срывающимся голосом. Она снова будет мерить шагами квартиру – свою крепость посреди погибающего города, пристанище последних четырех с небольшим месяцев, – пока окончательно не выбьется из сил. Потом она обнимет отца, и ее слабые всхлипы вскоре затихнут.

Я выжду пару часов. Они не окажут никакого сопротивления. Я знала, что отец уже сдался и хотел уйти. С мамой все было сложнее, впрочем, она приняла такую большую дозу снотворного, что быстро уснет, убаюканная ароматами жасмина и герани. Несмотря на то, что мама постепенно повышала дозу, она все равно просыпалась по ночам в слезах. Я бегала посмотреть, что случилось, но мне удавалось разглядеть сквозь приоткрытую дверь только то, как папа обнимал безутешную маму, похожую на маленькую девочку, которой приснился ужасный кошмар. Вот только для нее кошмаром было бодрствование.

Никто больше не слышал, как я плакала; никому не было до этого дела. Папа сказал, что я сильная и вынесу все что угодно. Но не мама. Боль захватила ее целиком. В доме, куда больше не пускали солнечный свет, ребенком была она. На протяжении всех четырех месяцев мама плакала по ночам. С тех самых пор, как улицы города покрылись битым стеклом и наполнились смрадным запахом пороха, металла и дыма. Именно тогда они и начали планировать наш отъезд.

Родители решили покинуть дом, где я родилась, и запретили мне ходить в школу, в которой меня больше никто не любил. Потом папа подарил мне второй фотоаппарат.

– Чтобы ты оставила след для выхода из лабиринта, как Ариадна, – шепнул он мне.

В голову мне пришла шальная мысль, что было бы замечательно от них избавиться. Я подумывала о том, чтобы подсыпать аспирин отцу в еду или стащить мамино снотворное – она бы не выдержала без него и недели. Единственным препятствием стали охватившие меня сомнения. Сколько нужно аспирина, чтобы у отца открылась смертельная язва или внутреннее кровотечение? Сколько мама сможет продержаться без сна? О кровавом деле даже речи не могло быть, потому что я не выносила вида крови. Так что лучше всего им было бы умереть от удушья. Так вот взять и задушить их огромной перьевой подушкой. Мама прямо говорила, что ей всегда хотелось умереть во сне.

– Я не выношу прощаний, – говорила она, глядя на меня в упор, или, если я не слушала ее, обхватывала меня рукой и слегка прижимала к себе – сил у нее оставалось немного.

Однажды ночью, очередной ночью слез, я проснулась с мыслью, что уже совершила преступление. Мне казалось, я видела безжизненные тела родителей, но не могла выдавить из себя ни слезинки. Я чувствовала себя свободной. Теперь никто не заставит меня переехать в дрянной район, бросить книги, фотографии, фотоаппараты, жить в страхе, что тебя отравят собственные отец и мать.

Я задрожала. И позвала:

– Папа! – Но на мой зов никто не пришел.

– Мама! – Это была точка невозврата. В кого я превратилась? Как я могла до такого опуститься? Что бы я стала делать с их телами? За сколько они бы разложились?

Все бы подумали, что это самоубийство. Никто бы не стал дознаваться. Страдания родителей длились уже четыре месяца. Все воспринимали бы меня как сироту, а я себя – как убийцу. В словаре было название моего преступления. Я нашла его. Какое отвратительное слово. Я содрогаюсь от одного его звука. Отцеубийца. Я попыталась произнести его еще раз и не смогла. Я была убийцей.

Было совсем просто найти название своему преступлению, признать вину и понять характер своих душевных терзаний. А как же мои родители, которые планировали избавиться от меня? Как называют тех, кто убил своих детей? Не такое ли это ужасное преступление, что ему не нашлось даже определения в словаре? Это означало, что им оно могло вполне сойти с рук. В то время как мне приходилось нести бремя смерти и этого отвратительного слова. Человек может убить родителей, братьев или сестер. Но не своих детей.

Я бродила по комнатам, которые казались мне невероятно тесными и темными, в доме, который вскоре не будет нам принадлежать. Осмотрев высокие потолки, я прошла в холл, увешанный портретами теперь уже немногочисленных членов семьи. Свет от лампы с кипенно-белым абажуром в папиной библиотеке проникал в коридор, где я стояла безо всякого движения и наблюдала, как мои бледные руки окрашивались золотом.

Открыв глаза, я обнаружила, что по-прежнему нахожусь в спальне, в окружении изрядно потрепанных книг и кукол, с которыми я никогда не играла и, очевидно, так и не поиграю. Я прикрыла глаза и ясно почувствовала, что уже совсем скоро мы уплывем на огромном океанском лайнере куда глаза глядят, оставив позади порт и страну, которая никогда не была нам родной.

В итоге я не убила родителей. Мне просто было незачем. А вина лежала на отце с матерью. Ведь именно из-за них я бросилась в эту пропасть.

* * *

Запах в квартире стал невыносимым. Я не понимала, как мама может жить в этих стенах, обтянутых темно-зеленым шелком, поглощавшим весь дневной свет, которого и без того было мало в это время года. Здесь пахло заточением.

Нам оставалось здесь жить мало времени. Я это знала, чувствовала. Мы не станем проводить лето здесь, в Берлине. Маме приходилось раскладывать по шкафам нафталиновые шарики, чтобы сохранить свой мирок, и квартиру наполнил надоедливый запах. Мне было совершенно непонятно, что она старается сберечь, ведь мы в любом случае должны были лишиться всего.

– От тебя пахнет, как от старух с Гроссе Гамбургерштрассе, – поддразнивал меня Лео. Лео был моим единственным другом, человеком, который мог смотреть мне в лицо, не испытывая желания в меня плюнуть.

Весна в Берлине выдалась холодной и дождливой, но папа часто выходил из дома без пальто. Всякий раз, когда ему нужно было отлучиться, он не ждал лифта, а шел вниз по скрипучим ступенькам. Впрочем, мне и не разрешали спускаться по лестнице. А отец спускался пешком не потому, что торопился, а чтобы не встретить никого из соседей. Пять семей, живущих на нижних этажах, дожидаться не могли, пока мы съедем. Те, кто раньше с нами дружил, теперь общались отчужденно. Те, кто в незапамятные времена благодарил отца или заискивал перед мамой и ее друзьями, а еще восхвалял ее прекрасный вкус и спрашивал ее, как составить комплект из яркой сумочки и модных туфель, теперь воротили от нас нос и могли отступить от нас в любой момент.

Мама который день сидела дома. Каждое утро, поднявшись с постели, она надевала рубиновые серьги и зачесывала назад прекрасные густые волосы – предмет зависти всех ее друзей, всегда восхищавшихся ею, когда она входила в кафетерий отеля «Адлон». Папа называл ее небожительницей, потому что она была совершенно очарована кинематографом, служившим ей единственной связью с окружающим миром. Она никогда не пропускала премьеры фильмов, в которых играли настоящие богини кино: взять, к примеру, фильм «Божественная женщина» с Гретой Гарбо, который показывали в кинотеатре «Паласт».

– В ней больше немецкого, чем в ком бы то ни было, – утверждала мама, когда речь заходила о божественной Гарбо, которая на самом деле родилась в Швеции. Но в те времена люди смотрели немое кино и никому не было дела до того, откуда родом звезда экрана.

Талант Гарбо открыли немцы. Мы всегда знали, что ей будут поклоняться. Именно мы прежде всех оценили ее по достоинству, именно поэтому ее заметили в Голливуде. И в своем первом интервью она сказала на идеальном немецком: «Виски, но не слишком разбавленный!»[1 - Перевод с немецкого.

(Здесь и далее прим. пер.)]

Время от времени, когда родители возвращались из кино, у мамы в глазах все еще стояли слезы.

– Обожаю печальные финалы – но только в фильмах, – говорила она и поясняла: – Комедии всегда были не для меня.

И она замирала в папиных объятиях, поднимала руку ко лбу, а другой поддерживала шелковый шлейф ниспадающего платья и, откинув голову, начинала говорить по-французски.

– Арман, Арман... – томно повторяла она с сильным акцентом, как до того «божественная женщина».

А папа называл ее «моя Дама с камелиями».

– Надейся, мой друг, и будь уверен в одном: что бы ни случилось, твоя Маргарита останется с тобой[2 - Перевод с французского.], – декламировала она, разражаясь истерическим смехом.

– Правда же, Дюма ужасно звучит на немецком?

Но теперь мама больше никуда не ходила.

Фраза «Слишком много выбитых окон» стала ее привычным объяснением с ноября прошлого года, когда произошел тот ужасный погром и папа потерял работу. Отца арестовали в его университетском кабинете и отвезли в участок на Грольманштрассе, где держали в изоляции за какое-то правонарушение, суть которого мы так и не поняли. Вместе с ним в камере находился и отец Лео, герр Мартин. После освобождения они стали встречаться каждый день, что еще больше беспокоило маму: как будто они планировали отъезд, к которому она пока не была готова. Именно страх мешал ей покинуть свою крепость. И она жила в постоянной тревоге. Прежде она посещала изысканный салон отеля «Кайзерхоф», находившегося по соседству, но вскоре там не осталось людей, кто бы не относился к нам с ненавистью: те, которые считали себя добродетельными, кого Лео называл ограми.

В прошлом мама очень гордилась Берлином. Если она отправлялась сорить деньгами в Париж, она всегда останавливалась в отеле «Ритц»; а если сопровождала отца в Вену на лекцию или концерт, то в «Империале»:

– Но ведь у нас есть «Адлон», наш гранд-отель на Унтер-ден-Линден. Там останавливалась «божественная женщина», кино его обессмертило.

Но в те дни мама выглядывала в окно, стараясь найти причину происходящему. Что стало со счастливо прожитыми годами? К чему ее приговорили и почему? Она понимала, что расплачивается за чужие ошибки: ее родителей, бабушек и дедушек – каждого предка на протяжении многих столетий.

– Я немка, Ханна. Я Штраус. Альма Штраус. Что же еще нужно, Ханна? – говорила мне мама на немецком, потом на испанском, затем на английском и в заключение на французском. Как будто рядом были другие слушатели, будто бы она старалась донести ясно свою мысль на каждом из четырех языков, на которых бегло говорила.

В тот день я согласилась встретиться с Лео и пойти фотографировать. Мы встречались ежедневно после полудня в кафе фрау Фалькенхорст у площади Хаккешер-Маркт. Когда владелица кафе нас замечала, она улыбалась и называла нас хулиганами. Нам это вполне нравилось. Если кто-то задерживался, пришедший первым обязательно заказывал горячий шоколад. Иногда мы встречались в кафе у выхода с вокзала Александерплац, где полки ломились от конфет в серебряной обертке. Если Лео нужно было срочно со мной увидеться, он ждал меня у газетного киоска возле дома, благодаря чему мы могли не бояться встретиться с кем-то из соседей, которые хоть и были нашими квартирантами, но всегда нас сторонились.

Чтобы не ослушаться взрослых, я обошла ужасно пыльную, покрытую ковром лестницу и зашла в лифт. Он остановился на третьем этаже.

– Добрый день, фрау Хофмайстер, – сказала я, улыбаясь ее дочери Гретель, с которой раньше часто играла.

Гретель выглядела печальной, потому что совсем недавно потеряла своего красивого белого щенка. Я ей сочувствовала. Мы были ровесницами, только я повыше ростом. Гретель смотрела в пол, а фрау Хофмайстер имела наглость

сказать ей:

– Давай пойдем по лестнице. Когда они наконец уедут? Они нас ставят в трудное положение...

Как будто я не могла ее слышать, как будто в лифте была только моя тень. Как будто меня не существовало. Именно этого ей и хотелось: чтобы меня не существовало.

В нашем доме жили семьи по фамилиям Дитмар, Брауэр и Шульц. Мы сдавали им квартиры. Здание принадлежало маминой семье еще до ее рождения. Так что уехать следовало им. Они были нездешними. В отличие от нас. Мы были больше немцами, чем они.

Дверь лифта закрылась, он поехал вниз, и я увидела ноги спускавшейся Гретель.

– Мерзкие люди, – донеслось снаружи.

Я не ослышалась? Что мы такого сделали, из-за чего я должна терпеть все это? Какое преступление мы совершили? Я не была мерзкой. Я не хотела, чтобы люди так обо мне думали. Я вышла из лифта и спряталась под лестницей, чтобы снова с ними не столкнуться. Я видела, как они выходят из дома. Гретель так и не подняла голову. Она обернулась, ища меня взглядом. Возможно, хотела извиниться, но мать подтолкнула ее.

– Что ты там высматриваешь? – повысила она голос.

Поднимая шум, я побежала вверх по лестнице вся в слезах. Да, я плакала от гнева и бессилия, потому что не смогла сказать фрау Хофмайстер, что в ней гораздо больше мерзости, чем во мне. Если мы причиняли ей неудобство, она могла выехать из дома: ведь это был наш дом. Мне хотелось биться о стену, разбить драгоценный фотоаппарат, подаренный отцом. Когда я вошла в квартиру, мама не могла понять, почему я была вне себя от ярости.

– Ханна! Ханна! – позвала она, но я не обратила на нее никакого внимания. Я пошла в холодную ванную, захлопнула дверь и включила душ. Я все еще плакала, точнее, мне хотелось остановиться, но я не могла. Не раздеваясь и не

разуваясь, я забралась в сверкающую белизной ванну. Единственным звуком был шум обрушившейся на меня обжигающе горячей воды. Она заливала мне глаза, пока в них не защипало, попадала в уши, нос и рот.

Я начала снимать одежду и обувь, которые отяжелели от воды и вменяемой мне мерзости. Вымывшись с мылом, я до красноты растерлась маминой солью для ванны, а после обернулась белым полотенцем, чтобы избавиться даже от малейших частичек грязи. Кожа алела, будто вот-вот сойдет. Я включила воду погорячее и прибавляла температуру, пока не почувствовала, что больше не могу терпеть. Выйдя из душа, я рухнула на черно-белый кафельный пол.

К счастью, плакать мне больше не хотелось. Я вытерлась, жестко проводя полотенцем по ненавистной коже, которая, даст бог, скоро начнет сходить от всего этого жара. Встав перед затуманившимся зеркалом, я осмотрела каждый миллиметр тела: лицо, руки, ноги, уши, силясь понять, остался ли хоть один невымытый участок. Интересно знать, кто теперь мерзкий.

Сжавшись и дрожа, я забилась в угол, чувствуя себя куском мяса с костями. Только там я и могла укрыться. Поскольку в конечном итоге я знала, что можно сколько угодно мыться, обваривать кожу, стричься, зажмуривать глаза, пропускать все мимо ушей, нарядно одеваться, по-другому говорить, называться другим именем, – все равно меня будут считать грязной. Возможно, неплохо было бы постучать в дверь достопочтенной фрау Хофмайстер и попросить ее удостовериться в том, что на моей коже нет ни единого пятнышка и ей незачем прятать от меня Гретель, что я не окажу никакого плохого влияния на ее ребенка, такого же светленького, прекрасного и безупречно чистого, как и я.

Придя в свою комнату, я оделась во все белое и розовое – одежду самых светлых тонов, которая только нашлась у меня в шкафу. Затем я отправилась к маме, обняла ее, чувствуя, что она понимает меня, даже несмотря на то, что она решила запереться дома и ни с кем не встречаться. В своей комнате, укрепленной мощными колоннами нашей квартиры, она выстроила настоящую крепость, размещавшуюся в здании, построенном из огромных каменных блоков и двойных оконных рам. Но мне нужно было спешить. Лео наверняка уже пришел на вокзал и теперь перебегает с места на место, стараясь не попасть под ноги людям, спешащим на поезд.

По крайней мере, я знала, что он-то считает меня чистой.

Анна

Нью-Йорк, 2014

В тот день, когда отец пропал, мама еще была беременна мной. Срок, правда, был всего три месяца. У нее была возможность избавиться от ребенка, но она не стала этого делать. Она никогда не теряла надежды, что отец вернется, даже когда получила свидетельство о смерти.

– Предоставьте мне какие-нибудь доказательства, хотя бы анализ ДНК, а там и поговорим, – отвечала она официальным лицам.

Вероятно, дело было в том, что отец оставался для нее в некотором смысле малознакомым человеком – таинственным, отстраненным и немногословным, – который, как ей казалось, может объявиться в любой момент.

Отец уехал, так и не узнав о моем предстоящем рождении.

– Если бы он знал, что у него вскоре родится дочь, он и сейчас был бы с нами, – с уверенностью говорила мама, на моей памяти, каждый сентябрь.

В тот день, когда отец ушел и не вернулся, мама собиралась накрывать ему и себе ужин в нашей просторной столовой, из окон которой виднелись деревья Морнингсайд-парка, освещенные бронзовыми фонарями. Мама готовилась рассказать ему новости. Она все же накрыла на стол в тот вечер, поскольку не допускала возможности, что его больше нет. Но бутылка красного вина так и осталась неоткупоренной. А тарелки стояли на покрытом скатертью столе несколько дней подряд. Еду в конце концов выбросили в мусорное ведро. Той ночью мама легла спать, так и не поев; она не плакала, но так и не сомкнула глаз.

Она рассказала мне все, потупив взгляд. Будь на то ее воля, тарелки и бутылка так бы и стояли на столе до сих пор – и, кто знает, возможно, соседствуя с гниющей, высохшей едой.

– Он вернется, – уверенно говорила мама.

Они говорили о том, чтобы обзавестись детьми. Рассматривали родительство как будущую возможность, долгосрочный план, мечту, от которой они так и не отказались. Они даже решили, что если у них однажды в самом деле родятся дети, то они назовут мальчика Максом, а девочку Анной. Только об этом отец всегда и просил ее.

– Это долг перед моей семьей, – объяснял он маме.

Они прожили вместе пять лет, но мама так и не смогла уговорить отца рассказать ей о годах на Кубе и о его семье.

– Все они умерли, – коротко отвечал отец.

Спустя столько лет это все еще беспокоило маму.

– Твой отец – загадка. Но эту загадку я любила больше всего на свете.

Стараясь разгадать отца, мама таким образом хотела снять с себя бремя. Поиски ответа стали ее наказанием.

Я сохранила его маленькую серебристую фотокамеру. Вначале я часами просматривала снимки, которые он сохранил в карте памяти. Среди них не было ни одной фотографии мамы. Но к чему она ему, если мама постоянно была рядом? Все снимки были сделаны с одного и того же места – узкого балкона в гостиной. Фотографии рассвета перемежались снимками, сделанными в дождливые дни, ясные, пасмурные и туманные, дни, когда небо было оранжевым или голубовато-сиреневым. На других фотографиях все было белоснежным и снег покрывал все кругом.

И всегда солнце. Вот рассвет: полоска солнечного света, испещренная заплатками домов спящего Гарлема, вот трубы, попыхивающие белым дымом, вот Ист-Ривер с островами по обеим сторонам. Снова и снова солнце – золотое, огромное, временами кажущееся теплым, а иногда – холодным, снятое из-за нашей двери с двойным стеклом.

Мама называла жизнь картинкой-пазлом. Вот она просыпается, пытается найти нужный фрагмент, пробуя все возможные комбинации, чтобы собрать видимые ей отдаленные ландшафты. В то время как я живу, чтобы разобрать их и узнать о своих корнях. И я создаю собственные пазлы из фотографий, которые я распечатала дома с кадров, найденных на отцовской камере. С того самого дня, когда я узнала, что на самом деле случилось с отцом и мама поняла, что я могу сама о себе позаботиться, она заперлась у себя в спальне, и я стала присматривать за ней. Она превратила спальню в убежище, никогда не открывая окна, позволявшего видеть весь двор. В мечтах я видела, как она, приняв таблетки, быстро засыпает, утопая в серых простынях и подушках. Мама говорила, что таблетки помогают унять боль и позволяют забыться. Иногда я молилась – так тихо, что сама не могла расслышать и запомнить слов, – чтобы она так и не проснулась и боль оставила ее навсегда. Я не могла видеть, как мама страдает.

Каждый день, перед тем как уйти в школу, я приношу маме чашку черного кофе без сахара. По вечерам она сидит со мной за ужином, как призрак, а я рассказываю ей об уроках. Она слушает, поднося ложку ко рту, и улыбается мне, чтобы показать, как она благодарна за то, что я все еще с ней, за то, что готовлю ей суп, который она поглощает из чувства долга. Я знаю, что мамы может не стать в любой момент. Куда мне тогда идти? Когда днем я выхожу из школьного автобуса на остановке возле нашего дома, первым делом я беру почту. Затем готовлю нам ужин, делаю уроки и проверяю, пришли ли какие-нибудь счета, которые отдаю маме.

Сегодня мы получили большой конверт с желтыми, белыми и красными полосами, на котором большими красными буквами красовалась надпись: НЕ СГИБАТЬ. Адресант из Канады отправил письмо на мамино имя. Положив письмо на обеденный стол, я легла на кровать и начала читать книгу, заданную в школе. Несколько часов спустя я вспомнила, что не вскрыла конверт, и постучалась к маме. «В такое позднее время?» – должно быть, подумала она и притворилась спящей. Тишина. Я снова постучала. Ночь для мамы священна: она пытается уснуть, вновь и вновь проживая ушедшее и размышляя о том, какой могла бы быть ее жизнь, если бы ей удалось убежать от судьбы или обмануть ее.

– Сегодня принесли пакет. Наверное, нам нужно вместе его открыть, – сказала я, но ответа не последовало.

Некоторое время я стояла под дверью, а потом тихонько открыла ее, так, чтобы не побеспокоить маму. Свет выключен. Мама дремала; ее тело, покоившееся в центре кровати, казалось почти невесомым. Присмотревшись, я увидела, что она дышала и все еще жила.

– Это не может подождать до завтра? – пробормотала мама, но я не сдвинулась с места. Она закрыла глаза, но потом снова открыла и повернулась ко мне, стоявшей в дверном проеме.

Из коридора проникал свет, который вначале ослепил ее, ведь она привыкла к темноте.

– Кто его прислал? – спросила мама, но я не знала имени отправителя.

Я настаивала, чтобы она пошла со мной, говоря, что ей будет полезно подняться.

В конце концов мне удалось ее уговорить. Слегка покачиваясь, мама встала, пригладила прямые черные волосы, которые она не стригла вот уже несколько месяцев. Она оперлась на мою руку, и мы двинулись в столовую, чтобы посмотреть, что же нам прислали. Может быть, это подарок мне на день рождения. Кто-то вспомнил, что мне скоро исполнится двенадцать, что я подросла, что я существую.

Мама медленно села. Выражение на ее лице, казалось, говорило: «Зачем ты заставила меня встать с кровати и нарушить свой распорядок?»

Когда же мама увидела имя отправителя, она схватила конверт и прижала его к груди. Ее глаза широко открылись, и она торжественно произнесла:

– Это от семьи твоего отца.

Как? Но ведь у папы не было семьи! Он один пришел в этот мир и так же оставил его, не имея рядом никого.

Я помнила, что его родители погибли в авиакатастрофе, когда ему было девять. Трагедия ему была предназначена судьбой, как однажды сказала мама.

После смерти родителей его растила Ханна, старая тетушка, которая, как мы думали, уже умерла. Мы не имели ни малейшего понятия, продолжали ли они созваниваться, переписываться или поддерживать связь по электронной почте. Ханна была для него семьей. А меня называли Анной в ее честь.

Пакет был доставлен из Канады, но на самом деле его отправили из Гаваны, столицы острова в Карибском море, где родился отец. Когда мы его вскрыли, внутри мы увидели другой конверт. Надпись, сделанная крупными буквами дрожащей рукой, гласила: «Анне от Ханны. Нет, это не подарок, подумалось мне. Должно быть, там документы или бог знает что еще. Вероятно, содержимое никак не связано с моим днем рождения. Или, быть может, конверт от человека, который последним видел отца живым и наконец решил выслать нам его вещи. Двенадцать лет спустя. Я очень нервничала. Мне не сиделось на месте, я вскакивала и снова садилась. Ходила из угла в угол. Потом начала вертеть локон, наматывая его на палец, пока прядь не спуталась. Но внутри обнаружились только старые фото – листы с несколькими кадрами на каждом, множество негативов и журнал – на немецком? – датированный мартом 1939 года. На обложке была улыбающаяся молодая блондинка, сфотографированная в профиль.

– Немецкая девушка, – произнесла мама, переводя название журнала. – Она вылитая ты, – с таинственным видом добавила она.

Эти снимки навели меня на мысль, что передо мной новый несобранный пазл. Я с удовольствием буду рассматривать фотографии, добравшиеся до нас с острова, где родился отец. Меня очень взволновала находка, хотя я и надеялась найти там все еще работавшие отцовские наручные часы, доставшиеся ему по наследству от прадедушки Макса, или его обручальное кольцо из белого золота, или очки без оправы.

Все эти детали об отце я помнила по фотографии, которую всегда носила с собой и клала ночью под подушку, в прошлом бывшую отцовской.

Пакет никак не был связан ни с отцом, ни с его смертью.

Мы не знали никого из этих людей. Трудно было рассмотреть маленькие смазанные фотографии, напечатанные на листах, по виду переживших кораблекрушение. Среди них мог быть и отец. Нет, это невозможно.

– Этим снимкам семьдесят лет, а то и больше, – объяснила мама. – Твой дедушка, возможно, еще даже не родился.

– Мы должны завтра отдать их в печать, – сказала я, сдерживая возбуждение, чтобы не расстраивать ее. Мама продолжала вглядываться в загадочные фотографии, лица людей из прошлого, которые она пыталась рассмотреть.

– Анна, они сделаны еще до войны, – сказала она с изумившей меня серьезностью. Теперь я была совсем сбита с толку. О какой войне она говорит?

Разбирая негативы, мы наткнулись на выцветшую почтовую открытку. Мама взяла ее в руки с такой осторожностью, будто она могла разлететься на куски.

На одной стороне корабль, на другой – надпись.

Мое сердце сильно забилося. Это наверняка ключ к разгадке. Но открытка была датирована 23 мая 1939-го, так что я зря думала, что это как-то связано с исчезновением отца. Мама держала открытку бережно, как настоящий археолог. Ей не хватало только пары шелковых перчаток, чтобы не повредить ее. Впервые за много лет она выглядела живой.

– Пора выяснить, кто такой отец, – сказала я в настоящем времени прямо как мама, когда о нем говорила. Затем мой взгляд привлекла немецкая девушка.

Я была уверена, что отец не вернется. Что я потеряла его навсегда одним солнечным сентябрьским днем. Но мне хотелось больше узнать о нем. У меня не было никого, кроме матери, живущей взаперти в темной комнате в компании мрачных мыслей, которыми ей не с кем поделиться. Я знаю, что иногда на вопросы нет ответов, и приходится это признать, но я не могу понять, почему, когда они поженились, она не стала выяснять больше о его жизни, не попыталась узнать его получше. Сейчас, конечно, уже поздно. Но в этом вся мама.

Теперь у нас был план. По крайней мере, у меня. Мне казалось, что мы вот-вот обнаружим важную подсказку. Мама ушла обратно в свою комнату, но теперь я была полна решимости бороться с ее пассивностью. Я забрала себе эту вещь, присланную далеким родственником, с которым мне теперь ужасно хотелось познакомиться. Я поставила маленькую открытку рядом с ночником у себя в

комнате и выключила свет. Затем я легла в кровать, укрылась одеялом и внимательно смотрела на картинку, пока не уснула.

На открытке был изображен океанский лайнер «Сент-Луис» пароходства «Гамбург – Америка». На обороте – надпись на немецком: «Желаю всего доброго в твой День Рождения, Ханна. И подпись: «Капитан[З - Перевод с немецкого.]».

Ханна

Берлин, 1939

Огромная дверь из темного дерева, которую я с силой толкнула изнутри, резко открылась, и бронзовый дверной молоток случайно ударил по бляшке. Звук эхом разнесся по притихшему дому, в котором я больше не чувствовала себя защищенной. Я внутренне подготовилась к гулу Французштрассе, увешанной красно-бело-черными флагами. Люди шли по улице, наталкиваясь друг на друга, и продолжали путь безо всяких извинений. Казалось, все ищут убежища. Я добралась до Хакеше Хефе. Пять лет назад здание принадлежало папиному другу герру Микаэлю. Огры отняли его у Микаэля, и ему пришлось уехать из города. Каждый день после полудня Лео ждал меня во внутреннем дворе, у дверей кафе фрау Фалькенхорст. Он там и стоял со своим обычным насмешливым выражением лица, явно собираясь выговорить мне за опоздание.

Я достала фотоаппарат и начала снимать его. Лео увлеченно позировал и смеялся. Тут дверь кафе отворилась, и оттуда вышел мужчина с лицом, покрытым красными пятнами. Вместе с ним вырвалось облако теплого воздуха с запахом табака и пива. Когда я подошла к Лео поближе, он вздохнул, и меня обдал аромат горячего шоколада.

– Нам нужно убираться отсюда, – сказал он. Я улыбнулась и кивнула.

– Нет, Ханна. Нам нужно совсем отсюда убираться, – повторил Лео, имея в виду город.

На этот раз я его поняла: никто из нас не хотел дальше жить среди этих флагов, солдат, пихающихся и толкающихся людей. Я пойду за тобой куда захочешь, подумала я про себя, и мы пустились бежать. Мы бежали против ветра, флагов и потока машин.

Я старалась не отставать от Лео, который несясь вперед, виртуозно лавируя в толпе людей, считавших себя чистыми и неуязвимыми. Когда я встречалась с Лео, то временами даже не слышала шума громкоговорителей или криков и песен людей, марширующих в такт. Казалось, это была высшая степень счастья, но я знала, что долго это не продлится.

Мы перешли мост, оставив позади королевский дворец и собор, и теперь могли наблюдать за рекой Шпрее, облокотившись о парапет. Воды реки были такими же темными, как и стены зданий по ее берегам. Мои мысли неудержимо текли со скоростью течения самой реки. У меня возникло чувство, будто я могу броситься в воду и позволить ей нести себя вдаль – стать еще более грязной. Но в тот день я была чистой, в чем я совершенно уверена. Никто бы не посмел в меня плюнуть. Я была такой же, как и они. По крайней мере, снаружи. На фотографиях воды Шпрее скорее отливали серебром, а мост неясно вырисовывался вдали, как тень. Я стояла в центре, над маленькой аркой, когда услышала, как Лео кричит что есть мочи:

– Ханна!

Что заставило его выдернуть меня из сна наяву? В ту минуту важнее всего было отрешиться от всего, не обращая внимания на окружающую действительность, и представить, что нам не нужно никуда идти.

– Там какой-то человек фотографирует тебя!

Только тогда я заметила тощего долговязого мужчину с намечающимся толстым животом. Он держал фотокамеру фирмы «Лейка» и наводил ее на меня. Я резко отвернулась и стала ходить туда-сюда, чтобы он не смог сфокусировать на мне камеру. Должно быть, это был один из огров, который хотел донести на нас, или кто-то из предателей, работавших на полицейский участок на Иранишештрассе и собиравших на нас информацию.

– Лео, он и тебя снял. Верно, дело тут не только во мне. Что ему нужно? Мы что, даже не можем постоять на нашем мосту?

Мама без конца повторяла, что мы не должны ходить по городу, потому что он кишел грубыми надсмотрщиками. Все уже понимали, что им даже необязательно маскироваться, чтобы угрожать кому-то. Но это мы несли угрозу, а они воплощали в себе рациональность, долг и контроль за соблюдением закона. Огры нападали на нас, выкрикивали оскорбления, а мы должны были молчать и не подавать голоса, пока они пинали нас.

Они обнаружили наш изъян, наше несовершенство и поносили нас. Я улыбнулась человеку с камерой. У него был огромный рот, а из носа капала густая прозрачная жидкость. Он вытер ее тыльной стороной руки и снова несколько раз нажал на кнопку фотоаппарата. Давайте, фотографируйте меня, сколько вам влезет. Отправьте меня в тюрьму.

– Давай заберем у него камеру и кинем в реку, – прошептал Лео мне на ухо.

Я же не могла отвести взгляд от этого жалкого человека, который пожирал меня глазами и готов был чуть ли не в ноги мне броситься ради удачного ракурса. Мне хотелось в него плюнуть. Мне был отвратителен его большой сопливый нос. Такой же огромный, как на карикатурах на нечистых на первой полосе «Штурмовика»[4 - Имеется в виду антисемитский еженедельник Der Stürmer.], ставшего очень популярным журналом, в котором нас ненавидели. Да, это, должно быть, один из тех, кто мечтает попасть на службу к ограм. Гнусные негодяи, как их обычно называл Лео.

Меня бросило в дрожь. Лео пустился бежать, волоча меня за собой как тряпичную куклу. Мужчина замахал нам и попытался нас догнать. Я расслышала, как он кричал:

– Девочка! Как тебя зовут? Мне нужно знать!

С чего он взял, что я остановлюсь и скажу ему свое имя, фамилию, возраст и адрес?

Пытаясь затеряться среди машин, мы перешли улицу. Мимо проехал заполненный пассажирами трамвай, а мужчина, как мы видели, все еще стоял на

мосту. Мы рассмеялись, а у него хватило нахальства крикнуть нам:

– До свидания!

Мы направились в кафе Георга Хирша на Шенхаузер-аллее, крупнейшей торговой улице. Это было наше любимое кафе в Берлине; там мы обычно налегали на конфеты и могли просидеть всю вторую половину дня, не боясь, что нас обидят. Лео всегда хотел есть, и у меня слюнки текли при мысли о праздничном печенье с орехами и специями, хотя сейчас мы были не на каникулах. Мне особенно нравилось печенье с сахарной присыпкой и анисовым экстрактом, а Лео предпочитал посыпанное корицей. Мы ели, пачкая пальцы и носы сахарной пудрой, а потом салютовали ограм. Лео изменил приветствие, скопировав сигнал регулировщика «Стоп!». Он вытягивал руку вперед и поднимал ладонь вверх – получалась буква L. Шутник он, этот Лео, как говорила мама.

Подойдя к кафе, мы замерли на углу: окна кафе Георга Хирша тоже были выбиты! Я не могла удержаться и не заснять вид на камеру. Но видела, что Лео очень расстроился.

Из-за угла показалась рота огров. Они шли маршем, чеканя шаг, и пели гимн, эдакую оду совершенству, чистоте, стране, которая должна принадлежать только им.

Прощай, печенье!

– Еще один знак, что мы должны уехать, – произнес Лео севшим голосом, и мы снова пустились бежать.

Я знала, что уехать: не с этого угла улицы, не с моста и не с Александерплац, а вообще уехать.

Вполне возможно, они ждут дома, чтобы посадить нас под замок. И если не огры, то мама. Нам не удастся выбраться невредимыми.

* * *

На станции Хаккешер-Маркт мы сели в первый вагон электрички. Напротив нас сидели две женщины, которые все время причитали о дороговизне, об урезании пайков, о том, как сейчас трудно достать хороший кофе. Всякий раз, когда они махали руками, от них шел запах пота, розовой воды и табака. У дамы, которая больше говорила, на переднем зубе был след от красной помады, напоминавший скол. Я взглянула на нее и, не замечая того, начала покрываться потом. Это не кровь, сказала я себе, не отводя взгляда от ее огромного рта. Дама, испытывающая неудобство из-за моей неделикатности, хлопнула меня, чтобы я перестала ее разглядывать. Я опустила глаза, и тут же мне в нос ударил тяжелый запах, шедший от женщины. Но тут подошел кондуктор в синей униформе и попросил нас предъявить билеты.

Между станциями Зоологический Сад и Савиньи-плац мы смотрели в окно на почерневшие фасады домов. Окна были грязными; на одном балконе женщина вытряхивала грязный, весь в пятнах, ковер, мужчины в окнах курили, и повсюду виднелись красно-бело-черные флаги. Лео указал на красивое здание на Фазаненштрассе, неподалеку от железнодорожного переезда. Здание горело. Дым все еще поднимался над главным разрушенным куполом. Больше никто не смотрел на загубленное здание. Вероятно, чувствовали себя виноватыми. Люди не хотели видеть, во что превращается город. Дама со смазанной помадой тоже опустила голову. Ей не только не хотелось быть свидетельницей пожара, она и нам не решалась посмотреть в лицо.

Мы вышли на следующей станции и прошли назад к Фазаненштрассе, миновав несколько домов. Мы завернули в боковой проход у дома, оштукатуренные стены которого разрушались от влаги и угольной пыли. Мы даже не успели подойти к окну герра Брауна, как услышали радио, игравшее на полную громкость.

Герр Браун был отвратительный глухой старик. Лео называл его огром, как он именовал всех, так сказать, чистых и тех, кто носил коричневые рубашки. Мы устроились под окном его неубранной столовой, посреди разбросанных окурков и грязных луж. Здесь нам нравилось прятаться больше всего. Иногда огры замечали нас и кричали оскорбительное «слово, начинающееся на «ю», которое мы с Лео отказывались говорить вслух. Ведь мама всегда говорила, что мы в первую очередь немцы.

Лео не мог понять, зачем я фотографирую лужи, грязь, окурки, обшарпанные стены, валявшиеся на земле осколки стекла и разбитые витрины. Я считала, что любое из этих изображений лучше огров и зданий с их флагами: тот Берлин,

который я не желала видеть.

Даже дым, поднимавшийся от горящих зданий, не мог перебить дыхание этого огра, разившее чесноком, табаком, шнапсом и мерзкими свиными колбасами. Он вечно сплевывал и сморкался. Даже не знаю, от чего больше мне сводило живот: от дурного запаха из его дома или от одного только взгляда на его физиономию. Впрочем, если не считать этого, то благодаря его глухоте мы могли выяснить, что происходит в Берлине.

Нам больше не разрешали слушать радио дома, покупать газеты и пользоваться телефоном.

– Это опасно, – говорил мне папа. – Не стоит искать на свою голову неприятностей.

Огр несколько раз переключал радиостанции. Новости – или сводки, как их называл Лео, – должны были начаться через пару минут, и огр как раз переставал возиться и шуметь. В конце концов он усаживался у окна. Лео дернул меня в сторону как раз в ту минуту, когда огр выглянул в окно. Мы умирали со смеху – уж очень здорово изучили его привычки.

Лео знал, что мне бы хотелось провести здесь весь день, что я чувствовала себя с ним защищенной. Когда мы были вместе, я не думала о том, как угасала мама, или о том, как отец собирался изменить нашу жизнь. Лео был страстным человеком. Он не ходил, а бегал; всегда спешил, желая достичь цели, показать мне что-то, что я никак не должна была пропустить. Он также наведывался в разные кварталы, стараясь выяснить, что происходит в нашем городе, который постепенно распадался на части. Время от времени он сливался с толпами громкоголосых огров, марширующих по улицам, увешанным их флагами. Но я никогда не решалась присоединиться к нему. Лео говорил со мной очень взволнованно, словно предвидя, что у нас осталось не так много времени. Единственные минуты покоя у нас были здесь, в мерзкой, заплеванной подворотне огра, благодаря старому радио, игравшему на полную мощность.

Лео был старше меня на два месяца. Из-за этого он считал себя более взрослым. Я легко мирилась с этим, потому что он был моим единственным другом, единственным человеком, которому я могла полностью доверять.

Иногда Лео следил за своим отцом, который сговаривался о чем-то с моим еще с того дня, когда они встретились в полицейском участке на Грольманштрассе, который, как говорил мой друг, провонял мочой. Лео зачастую приходил поделиться со мной ужасающими мыслями, на которые я предпочитала не обращать внимания. Мы знали, что наши отцы планируют что-то масштабное, что затронуло бы, а возможно, и нет, нас самих. Я не думала, что они бросят нас, или отправят в специализированную школу в пригороде Берлина, или отошлют одних в другую страну, где говорят на другом языке, как говорили соседи Лео со своими детьми. Но они точно что-то планировали – Лео был совершенно уверен. И это меня пугало.

Герр Мартин был бухгалтером, который потерял всех своих клиентов. Он вместе с Лео снимал комнату в пансионе в доме номер сорок на Гроссе Гамбургерштрассе. Их дом находился по соседству с приютом, где ютились женщины, старики и дети – все те, чья судьба еще не была решена и которых не знали куда отправить. В этот район мама отказывалась даже заглянуть. Матери Лео удалось бежать в Канаду и воссоединиться с братом, золовкой и племянниками, которых она увидела впервые. У Лео и его отца не было никакой возможности уехать к ним в ближайшее время. И они искали, как говаривал Лео, «другие пути отступления». Мой же отец был частью плана. По словам Лео, он так же переводил деньги в Канаду, поскольку наши банковские счета в Берлине стали закрывать.

По крайней мере, меня это радовало. Мы бы поддержали любое решение родителей, если, конечно, оно бы также касалось Лео и меня и наших семей. Лео был убежден, что мои родители помогают его отцу, оставшемуся без гроша в кармане и возможности работать, чтобы они также могли бежать.

Лео имел обыкновение сопровождать отца на утренние встречи с моим папой. Он притворялся, что не слушает и занимается чем-то другим, так что они говорили свободно и спокойно строили планы. Я шутила, что он стал шпионом товарищества Мартин-Розенталь. Но Лео со всей серьезностью относился к своей миссии держать ухо востро и ничего не упускать из виду.

Он не разрешил мне навестить его в новом доме.

– Это совершенно ни к чему, Ханна. Какой смысл?

– Вряд ли он хуже той ужасной подворотни, в которой мы столько времени сидели.

– Фрау Дубиецки не любит, когда к нам приходят. Эта старая ворона извлекает выгоду из нашей ситуации. У нас никто ее не любит. А папа только рассердится. Кроме того, Ханна, там даже негде сесть.

Лео достал из кармана кусок черного хлеба и отправил большой кусок в рот. Он и мне предложил, но я отказалась. У меня не было аппетита: я ела только потому, что было нужно. А Лео жадно ел хлеб, и за трапезой я могла его хорошенько рассмотреть. Каждая его черточка источала энергию. У него была яркая внешность: на красноватой коже сияли карие глаза.

– По моим венам течет кровь! – радостно хвалился Лео, и ему вторили румяные щеки.

– Ты такая бледная, почти прозрачная. Я вижу тебя насквозь, Ханна.

И я краснела.

Лео жестикулировал мало, но ему и не было нужды: всего лишь с одной сказанной фразой его лицо выражало мириады эмоций. Когда он говорил со мной, я всегда внимательно слушала. Он обстреливал меня словами. Он заставлял меня нервничать, я могла смеяться и дрожать одновременно. Когда ты слушаешь Лео, кажется, что город вот-вот взорвется.

Лео был высоким и худым. И хотя мы были одного роста, его густые кудрявые волосы, которых, казалось, не касалась расческа, с виду делали его на пару дюймов выше. Перед тем как сказать что-то важное, Лео сильно, чуть ли не до крови, кусал губы. У него были испуганные, широко распахнутые глаза, а таких темных и густых ресниц я ни у кого больше не видела.

– Они всегда на шаг впереди тебя, – подкалывала я его.

Как же я ему завидовала. Мои меня совсем не радовали; они были светлыми и казались почти незаметными, как и у мамы.

– С такими большими голубыми глазами, как у тебя, они не нужны, – говорил Лео, чтобы меня утешить.

Смрад напомнил мне, что мы все еще в этой отвратительной подворотне. Огр ходил туда-сюда по комнате. Он редко выходил на улицу, разве что за покупками.

Лео рассказал мне, что этот огр раньше работал в мясной лавке герра Шмуэля, в нескольких домах отсюда, пока сам же и не донес на владельца. Он чувствовал свою силу с тех пор, как огры пришли к власти. Они дали ему право возносить других или делать их такими же ничтожными, как и он сам. Тем ужасным ноябрьским вечером, о котором все еще не стихали разговоры, в лавке герра Шмуэля выбили окна и закрыли ее. Именно с этого дня по городу распространилось зловоние: смрад от сломанных труб, сточных вод и дыма. Герр Шмуэль был арестован, и больше ничего не было слышно о человеке, который продавал лучшие куски мяса в квартале.

Так что теперь этот огр сидел без работы. Мне было любопытно узнать, что же он выгадал от доноса на герра Шмуэля.

Огры заволонали Берлин. В каждом доме жил свой каратель. Они вменили себе в обязанность доносить, преследовать и делать жизнь невыносимой для всех несогласных: тех, кто происходил из семей, которые не вписывались в их представления о семье. Нам нужно было остерегаться их, а также предателей, которые думали, что смогут обезопасить себя, донося на нас.

– Лучше жить, запершись дома, и чтобы окна и двери были на засовах, – говорил Лео.

Но нам двоим не сиделось на месте. Какой в этом смысл, если наши родители все равно собираются отослать нас, куда им заблагорассудится? Ограм было сложно вычислить, кто я такая. В парке я могла сидеть на скамейках, которые были не для нас, или заходила в вагоны трамвая, предназначенные для представителей чистой расы. Если я бы захотела, я могла бы купить газету. Лео говорил, что меня можно принять за кого угодно. Во внешности у меня не было отличительных особенностей, но внутри себя я носила клеймо, полученное от всех моих бабушек и дедушек, которых так ненавидели огры. Лео был точно таким же. Все считали, что он такой же, как они, хотя сам Лео думал, что его

выдавал нос или взгляд. Тем не менее Лео мог совершенно не беспокоиться, что его выведут на чистую воду, потому что мастерски ускользал от опасности и бежал быстрее, чем великая американская олимпийская чемпионка Джесси Оуэнс.

Но моя способность подражать тем, кто мне нравился, не вызывая у них желания в меня плюнуть или пнуть меня, вышла мне боком в общении со своими. Они считали, что я их стыжусь. Никто меня не любил, а я не принадлежала ни к тому, ни к другому кругу, но меня на самом деле это не беспокоило. Ведь у меня был Лео.

Мы часто прятались в подворотне у огра, чтобы разузнать, что происходит. Если днем у нас не было времени туда пойти, Лео начинал волноваться, опасаясь, что пропустил какие-то новости, которые могли кардинально изменить нашу жизнь.

Нашу идиллию прервал сын булочника, мальчик, с гордостью демонстрировавший свой огромный нос. Я опустила голову. Если Лео хочет пойти с ним играть, пусть идет. Я найду себе другое занятие.

– Снова с ней? – крикнул его друг. – Оставь эту немочку и выходи из этой вонючей дыры.

Называя меня так, он произнес каждый слог отдельно и сделал значительное лицо.

– Оставь ее. Она считает себя лучше нас. Пойдем посмотрим драку на углу. Они там насмерть дерутся. Идем!

Лео сказал, чтобы он говорил тише и уходил отсюда.

– Милая, милая, милая, – пропел мальчишка, как будто у нас с Лео была любовь, и испарился.

Лео попытался успокоить меня.

– Не слушай его, – сказал он мягко. – Он просто уличный хулиган.

Мне захотелось пойти домой, чтобы увеличить нос, завить волосы и выкрасить их в темный цвет. Мне надоело, что люди принимали меня не за ту, кем я являюсь. Возможно, я была не родной дочерью своих родителей, а сиротой – настоящей сиротой чистой расы, удочеренной состоятельной нечистой парой, считавшей себя важными, потому что у них были деньги, драгоценности и недвижимость.

Новости, звучавшие по разбитому радиоприемнику огра, заставили меня отвлечься от патетической жалости к себе. Нам придется подчиняться новым правилам и законам. Я вздрагивала при каждом приказе, отдававшемся эхом, как раскат грома. И причинявшем боль.

Нам придется составить имущественные списки. Многим из нас придется сменить имя и продать недвижимость, дома и лавки по установленным правительством ценам.

Мы были чудовищами. Мы крали деньги у других людей. Мы превращали менее состоятельных людей в рабов. Мы уничтожали наследие страны. Мы обобрали Германию. От нас воняло. Мы верили в других богов. Мы были белыми воронами. И нечистыми.

Я посмотрела на Лео и себя. И не могла понять, в чем была разница между ним, Гретель и мной. Зачистки начались в Берлине, самом грязном городе Европы. Нас будут поливать мощными струями воды, пока мы не станем чистыми. Мы им не нравились. Мы никому не нравились.

Лео помог мне подняться, и мы ушли. Я бесцельно брела за ним, позволяя ему вести меня по улице.

Огр подошел к окну с напыщенным видом, довольный тем, что приближалась чистка – как раз вовремя! – вроде той, которую он устроил в своем квартале. Пришло время сокрушить нежелательных личностей, сжечь их, душить, пока никого не останется в живых. Чтобы никто не смог покуситься на их совершенство и чистоту.

И с удовлетворением человека, который мог уничтожать, быть выше других, чувствуя себя богом в своем прекрасном укрытии, вокруг которого валялись окурки и грязь, он снова харкнул и сплюнул густую мокроту.

Анна

Нью-Йорк, 2014

Сегодня я проснулась раньше обычного. У меня из головы не шел образ девочки из Германии: у нее были такие же черты лица. Мне хотелось полностью проснуться, чтобы забыть ее. На прикроватной тумбочке, где я хранила фотографию папы, теперь стояла и выцветшая открытка с кораблем.

Это моя любимая фотография отца. Кажется, будто он смотрит прямо на меня. На ней у него темные волосы, зачесанные назад, большие глаза с нависающими веками и густые черные брови, прячущиеся за очками без оправы, а на тонких губах застыла легкая улыбка. Отец – самый красивый мужчина в мире.

Всякий раз, когда мне нужно поговорить о школе, о том, что произошло за день, или поделиться с кем-то тревогами, я достаю его фотографию и ставлю под ночник с абажуром цвета слоновой кости, украшенным серыми единорогами, которые скакали по кругу, пока свет не выключался и я не засыпала.

Иногда мы пили вместе чай. Ели вместе шоколадное печенье или я ему читала отрывок из библиотечной книжки, которую мне задали. Если мне нужно было отрепетировать презентацию к уроку испанского, отец был со мной. Он лучший слушатель: самый понимающий и спокойный. Однажды мама рассказала мне, что его любимой книгой в детстве был «Робинзон Крузо», и в мой первый школьный день она мне ее подарила. Мама положила мне на плечи тонкие руки, заглянула в глаза и сказала:

– Чтобы ты быстрее научилась читать.

Я просмотрела малочисленные иллюстрации, изображавшие двух мужчин в лохмотьях на пустынном острове, и спросила себя, почему же в этой книге в более чем сто страниц, которая так нравилась отцу, было так мало картинок. Мне было непонятно, что такого интересного в пачке белых страниц, испещренных черным шрифтом, где нет ничего цветного.

Как только я научилась читать, я попыталась понять это, повторяя про себя каждое слово, каждый слог, но мне по-прежнему было очень трудно. Все эти сложные предложения казались мне совершенной китайской грамотой, даже первое я еле преодолела: «Я родился в 1632 году в городе Йорке, в добропорядочной семье, которая, впрочем, происходила из другой страны. Мой отец был иностранцем...»

В книге не упоминалось о собаках или кошках, потерянной луне или заколдованных лесах. Это была книга о приключениях. Первая загадка решена. И я начала читать ее с отцом, слог за слогом. Каждый вечер мы брали штурмом очередную страницу. Поначалу борьба давалась нелегко. Но вскоре я даже и не заметила, как предложения потекли свободным потоком.

История о человеке, потерпевшем кораблекрушение и оказавшемся на затерянном острове, где было только два сезона – дождливый и засушливый, вместе со своим другом Пятницей, которого он спас от каннибалов, наполняла меня надеждой. А потом я начала придумывать свои приключения.

Возможно, отец попал на далекий остров, и я поплыву на своем величественном корабле через моря и океаны, сражаясь с ужасными штормами и огромными волнами, чтобы найти его.

Но сегодня мне не до чтения. Мне нужно рассказать ему о пакете, прибывшем с Кубы, настоящей семейной реликвии. Потому что если кто-то и знает что-нибудь о корабле и подписи на немецком, то это наверняка он.

Я уговорю маму пойти в фотостудию, чтобы отпечатать фотографии. Я знаю, он поможет мне выяснить, кто эти люди. Возможно, среди них есть и его родители или бабушка с дедушкой, ведь, насколько можно судить, снимки сделаны до войны. Второй мировой войны, самой ужасной из всех.

Каждое утро, проснувшись, я брала фотографию и целовала ее. Затем я варила маме кофе. Только так я могла убедиться, что она встанет.

Сегодня, когда я варила ей кофе, я дышала ртом, потому что запах вызывал у меня тошноту. Но маме он нравится и позволяет ей проснуться. Я медленно принесла ей большую чашку, держа ее за ручку, чтобы не обжечься. Это настоящее волшебное зелье, которое выведет ее из дремы. Я дважды постучала,

но, как обычно, она не откликнулась. Я медленно открыла дверь, и свет из коридора устремился в комнату вместе со мной.

Потом я увидела ее: она была белой как полотно и лежала неподвижно, вся извернувшись и закатив глаза, а подбородок был вздернут вверх. Я выронила чашку с кофе, которая, упав на пол, разбилась, и кофе забрызгал белые стены спальни.

Я выбежала в коридор, судорожно пытаюсь открыть входную дверь, а затем со всех ног бросилась наверх, на пятый этаж, и постучала в дверь к мистеру Левину. Когда он мне открыл, его пес Бродяга наскочил на меня.

– Я с тобой сейчас не могу поиграть, маме нужна помощь.

Мистер Левин увидел, насколько я была расстроена, и приобнял меня за плечи. Больше я не могла сдерживать слезы.

– С мамой что-то случилось! – все, что я сказала ему, потому что не могла произнести самое страшное слово. Что я ее потеряла, что она ушла, оставила меня. С этого дня я буду сиротой не только по отцу, но еще и по матери. Возможно, мне придется съехать с квартиры, оставить фотографии и школу. Кто знает, куда меня отправят. Может быть, на Кубу. Да, я могла бы попросить социальных работников, которые приходят проводить меня, найти мою семью на Кубе – найти Ханну, единственного человека, который у меня остался на свете.

Мы с Бродягой побежали вниз, а мистер Левин спустился на лифте. Прибыв первой, я ждала у двери маминной спальни, не решаясь заглянуть внутрь. Сердце колотилось в груди. Оно так тяжело стучало, что каждый удар отдавался болью. Мистер Левин вошел совершенно спокойно, включил лампу и присел на мамину кровать. Он послушал ее пульс, затем обернулся ко мне и улыбнулся. И начал звать ее.

– Ида! Ида! Ида! – кричал он, но тело оставалось таким же неподвижным.

Затем я увидела, как мамины руки потихоньку начали расслабляться, и она слегка повернула голову налево, как будто не желая нас видеть. На ее щеки вернулся румянец, и, казалось, она очень недовольна тем, что в ее комнате стало так светло.

– Не волнуйся, Анна. Я уже вызвал скорую. С твоей мамой все будет хорошо. Во сколько приезжает твой школьный автобус? – спросил мой единственный друг во всей вселенной, который к тому же был хозяином самой замечательной собаки в доме.

Мама увидела слезы, катившиеся по моим щекам, и, мне показалось, это опечалило ее больше всего. Как будто бы ей было стыдно и она просила у меня прощения, но у нее не было сил что-то сказать. Я подошла и нежно, чтобы не сделать больно, обняла ее.

Я вытерла слезы и побежала вниз, к автобусу. С улицы я увидела мистера Левина, который вышел на наш балкон, чтобы удостовериться, что водитель меня заберет. Когда я села в автобус и прошла по проходу к своему месту, другие дети увидели, что я плакала. Я села в самом конце салона, и ко мне тут же повернулась девочка с косами, сидевшая впереди меня. Уверена, она подумала, что меня наказали за какой-нибудь проступок: за то, что недоделала уроки, не убрала комнату, а может, не позавтракала или не почистила зубы, прежде чем выйти из дома.

Сегодня на уроках я никак не могла сосредоточиться. К счастью, учителя не задавали мне вопросов, на которые я не знала ответов. Я не знала, нужно ли будет маме провести несколько дней в больнице и смогу ли я пожить немного у мистера Левина.

Когда я пришла домой из школы, мой друг снова стоял на балконе. Думаю, это означало, что мама в больнице и мне теперь придется подыскать себе другое жилье.

Я вышла из автобуса, не попрощавшись с водителем, затем несколько минут стояла у парадной, поскольку мне не хотелось заходить внутрь. Я заметила первые зеленые побеги бостонского плюща, покрывающие одну из стен нашего дома.

Я взяла почту, как делала всегда, а потом побежала вверх по лестнице. Когда я вошла, Бродяга бросился ко мне и принялся меня облизывать. Я сидела на полу и гладила его, стараясь оттянуть момент, когда нужно будет пойти в гостиную. Когда я наконец пришла туда, я увидела мистера Левина, у ног которого Бродяга немедленно улегся, и маму, сидевшую в кожаном кресле рядом с

открытой балконной дверью. Они оба улыбнулись, а мама встала и подошла ко мне.

– Я тебя напугала, но все прошло, – прошептала она мне на ухо так, чтобы не услышал мистер Левин. – Обещаю, доченька, больше такого не повторится. – Она уже давно не называла меня доченькой.

Мама начала гладить меня по волосам. Я закрыла глаза и уткнулась ей в грудь, как делала, когда была маленькой. Тогда я не имела ни малейшего представления о том, что могло случиться с отцом, и все надеялась, что, возможно, он вот-вот объявится и войдет в дверь. Я сделала глубокий вдох: она пахла чистой одеждой и мылом.

Я обняла ее, и мы так стояли несколько минут. Ни с того ни с сего комната вдруг показалась мне огромной, и я начала клевать носом. Не шевелись, постой так еще немного. Обнимай меня, пока не устанешь и пока руки не отяжелеют. Бродяга подошел и лизнул мне ноги. Он пробудил меня от сна наяву, но, когда я открыла глаза, мама все еще стояла и улыбалась, а на ее щеках играл румянец. Она снова была красивой.

– У нее слишком сильно упало давление. Все будет хорошо, – сказал мистер Левин. Мама поблагодарила его, отвела в сторону и отправилась на кухню.

– А теперь мы будем ужинать, – объявила она, входя в ту часть дома, которая была ей чужда несколько последних лет.

Стол был уже накрыт: салфетки, тарелки, столовое серебро – все на троих. Из духовки доносился запах лосося с каперсами и лимоном. Мама принесла блюдо к столу, и мы стали есть.

– Завтра мы пойдем в фотостудию в Челси. Я позвонила и договорилась.

Именно это мне и нужно было услышать, чтобы оправиться от сегодняшнего испуга. В некотором смысле я чувствовала себя виноватой. Иногда мне хотелось, чтобы она больше не проснулась, чтобы больше не открыла глаза, а просто продолжала спать, освободившись от боли. Не знаю, как я могла бы попросить у нее прощения. Но теперь мы собирались выяснить, кто был на тех фотографиях. И я чувствовала, что мама снова контролирует ситуацию или же, по крайней

мере, у нее появилось больше сил.

Я проводила мистера Левина до его квартиры. По пути мы наткнулись на вредную соседку, которая терпеть не могла достойнейшего пса.

– Подобрали на улице какую-то вонючую собаку, – несколько раз говорила она другим соседям. – Кто ее знает, может, у нее полно блох.

Все считают ее сумасшедшей.

Но Бродяга все равно здоровается с ней, когда ее видит. Ему все равно, что она его отталкивает. У Бродяги обвисло одно ухо, он немного глуховат, и у него сломан хвост. Поэтому старуха и ненавидит его. Мистер Левин спас его и теперь говорит с ним по-французски.

«Мой клошар», – называет он пса. Мистер Левин рассказал мне, что хозяйкой Бродяги раньше была старая француженка, которая, как и он, жила одна. Ее нашли мертвой в Ля Турэн, одном из старейших многоквартирных домов на Морнингсайд-драйв.

Я вдруг вспомнила, как мама говорила, что мы живем во французской части Манхэттена, еще в те дни, когда она рассказывала мне на ночь сказки. Когда вахтер открыл дверь квартиры старой француженки, Бродяга убежал, и его не смогли поймать. Неделью спустя, во время одной из утренних прогулок, мистер Левин заметил собаку, которая с трудом поднималась по крутому склону в Морнингсайд-Парке. А потом Бродяга сел у его ног.

«Мой клошар», – позвал мистер Левин, и пес подпрыгнул от радости. Бродяга послушно шел за мистером Левином, приземистым старым мужчиной с кустистыми седыми бровями, прямо до его квартиры. И с тех пор он стал его верным спутником. В тот день, когда мистер Левин познакомил меня с Бродягой, он серьезно сказал:

– В следующем году мне будет восемьдесят, и в этом возрасте уже начинаешь считать минуты, оставшиеся до конца. И я не хочу, чтобы с моим клошаром произошло то же самое, что и в прошлый раз. И когда в мою квартиру взломают дверь, чтобы посмотреть, почему я не отвечаю, я хочу, чтобы моя собака знала дорогу в твой дом.

– Мой клошар, – сказала я Бродяге со своим американским акцентом, поглаживая его. Несмотря на то, что мама никогда не разрешала мне завести домашнее животное – кроме, пожалуй, рыбки, которая живет даже меньше цветов, – она понимала, что не сможет отказать Бродяге в доме, ведь это был наш долг перед моим единственным другом.

– Анна, мистер Левин проживет еще долго, так что не возлагай особых надежд, – сказала она мне, когда я принялась убеждать ее в том, что мы должны будем присматривать за его собакой. Как по мне, мистер Левин был ни старым, ни молодым. Я знала, что у него не очень много сил, потому что он ходил очень осторожно, но его ум был так же ясен, как и мой. Мистер Левин знал ответы на все вопросы, а когда он смотрел собеседнику в глаза, тот всегда внимательно слушал.

Теперь же Бродяга не хотел, чтобы я уходила, и начал повизгивать.

– Ну полно тебе, невоспитанный пес, – увещевал его мистер Левин. – У юной мисс Анны есть дела поважнее.

Когда мистер Левин прощался со мной на пороге, он коснулся своей мезузы. А я обратила внимание на одиноко висящую на стене старую фотографию, на которой мистер Левин был в компании своих родителей: симпатичный, улыбающийся молодой человек с густыми темными волосами. Кто знает, помнит ли мистер Левин годы, проведенные в родной деревне, которая тогда находилась на территории Польши. Это был так давно.

– Ты девочка с душой человека преклонных лет, – сказал он, положив тяжелую руку мне на голову и поцеловав в висок.

Я не поняла, что это значит, но приняла за комплимент.

Потом я пошла в свою комнату, чтобы рассказать отцу, ожидавшему меня на прикроватной тумбочке, обо всем, что произошло за день. Завтра мы отвезем негативы в фотостудию. Я рассказала папе о Бродяге и мистере Левине, а также об ужине, приготовленном мамой. Только об одном я умолчала: о том ужасе, который мы испытали тем утром. Мне не хотелось расстраивать его такими вещами. Ведь я знала, что все будет в порядке.

Я чувствовала себя более утомленной, чем обычно. Мои глаза слипались, и я уже не могла ни говорить, ни даже погасить свет. Я успела задремать, когда ко мне в комнату зашла мама и выключила ночник. Единороги остановились отдохнуть, как и я. Мама укрыла меня сиреневым покрывалом, а потом наклонилась ко мне с долгим нежным поцелуем.

Наутро меня разбудил яркий солнечный свет – я забыла опустить жалюзи. Я в изумлении поднялась, размышляя несколько секунд: не приснилось ли мне все это?

Я услышала шум в квартире. Кто-то был в гостиной или на кухне. Я оделась как можно быстрее, чтобы узнать, что происходит. И даже не причесалась.

На кухне мама держала в обеих руках чашку с кофе. Она пила неторопливо, улыбалась, а ее карие глаза сияли. На ней была лиловая блузка, темно-синие брюки и туфли, которые она называла балетками. Она подошла и поцеловала меня. А я, почувствовав ее так близко, закрыла глаза, сама не зная почему.

Я быстро принялась завтракать.

– Анна, не спеши...

Но мне хотелось доесть как можно скорее. Я хотела узнать, что это за люди на снимках, потому что была уверена, что мы очень скоро найдем информацию о семье отца. И история о корабле, который, возможно, утонул в океане, нам в этом поможет. Когда мы вышли из квартиры, я увидела, как мама быстро повернулась, заперла дверь и замерла на минуту, как будто передумала. Когда мы вышли на улицу, она прошла вперед шесть шагов, отделявших ее от мира, который она успела позабыть, даже не держась при этом за железный поручень. Когда мы вышли на тротуар, мама взяла меня за руку и заставила ускорить шаг. Казалось, она хотела набрать в легкие как можно больше воздуха, даже несмотря на прохладу, и почувствовать лучи весеннего солнца на своем лице. Она улыбалась встречным людям и, казалось, чувствовала себя свободной. Когда мы добрались до Челси, где находилась фотостудия, мне пришлось помочь ей открыть тяжелые двойные двери из стекла. Мужчина за прилавком, ожидавший нас, надел белые перчатки, развернул рулоны с негативами на просмотрном столе с подсветкой и принялся рассматривать их через увеличительное стекло один за другим. Мы получили настоящее сокровище из Гаваны. А я детектив,

работающий над тайной, которая вот-вот откроется. Мы видели, как негативы обернулись: черное стало белым, а белое – черным. Скоро под мощными лампами и химическими препаратами наши призраки оживут.

Несколько минут мы рассматривали фотографию, помеченную белым крестом. В углу была размытая надпись на немецком, которую мама нам перевела:

– Сделана Лео 13 мая 1939 года.

На снимке была девочка, очень похожая на меня, смотревшая в окно, которое, по мнению седоволосого мужчины, могло быть корабельным иллюминатором.

Думаю, мама немного забеспокоилась, когда увидела, как сильно я разволновалась из-за негативов. Она считала, что я надеюсь получить от них ответы на многие вопросы, а ответы эти будут неутешительными. Теперь нам нужно было узнать, откуда они взялись, кто из родственников отца есть на фотографиях и что с ними стало. По крайней мере, мы знаем, что один из них отправился на Кубу. А что стало с остальными?

Отец родился в конце 1959 года, но этим негативам больше семидесяти лет, так что здесь мы говорим о тех днях, когда мои прадедушка и прабабушка прибыли в Гавану. Возможно, их сопровождал мой дедушка, который тогда был ребенком. Мама думала, что эти фотографии сделаны в Европе и во время плавания, когда они бежали от приближающейся войны.

– Твой отец был совсем немногословным человеком, – сказала она снова.

Когда мы возвращались домой на такси, она взяла меня за руку, так, чтобы завладеть моим вниманием. Я знала, что есть и другие сведения, которые она хотела мне передать, что-то, что она носила в себе все эти годы. Она по-прежнему считала, что я слишком маленькая, чтобы понять, что случилось с моей семьей. Мама, я сильная. Ты можешь мне рассказать что угодно. Я не люблю тайн. И мне кажется, что в этой семье их ужасно много. Было бы гораздо проще, если бы она рассказала мне, как именно я потеряла отца, еще до того, как я пошла в Филдстонский детский сад. Но мама всегда говорила одно и то же: – Однажды твой отец ушел и не вернулся. И больше ничего.

– Думаю, пришло время тебе узнать кое-что. По отцу ты тоже немка, – сказала мама с легкой, будто извиняющейся улыбкой. Я не ответила. Просто не среагировала.

Когда такси выехало на Вест-Сайд-Хайвей, я открыла окно. Холодный ветер с Гудзона и шум машин не дали маме продолжить. А я все думала о том, что она только что сказала.

Когда мы добрались до дома, мои щеки замерзли и покраснелись. У парадной мы встретили мистера Левина и Бродягу: после прогулки они часто отдыхали на ступеньках.

Ханна

Берлин, 1939

Ужин был накрыт. Столовая, отделанная панелями из темного дерева, которые давно уже никто не полировал, стала нашей тюрьмой. Потолок с тяжеловесной квадратной лепниной, казалось, вот-вот рухнет нам на голову. Теперь у нас в доме не было слуг: они все ушли. Включая Еву, которая служила нам еще с моего рождения. Для нее это было небезопасно, да и она не хотела видеть, как мы страдаем. Хотя, на мой взгляд, на самом деле она оставила нас потому, что не хотела стоять перед выбором: доносить на нас или нет.

Впрочем, втайне Ева продолжала приходить к нам, и мама все так же платила ей, как будто она по-прежнему была нашей служанкой.

– Она часть нашей семьи, – объясняла она отцу каждый раз, когда он предостерегал ее от лишних трат, чтобы не остаться в Берлине без гроша в кармане.

Иногда Ева приносила нам хлеб или готовила дома, а потом приносила еду в огромном котелке, и нам оставалось только разогреть ее. У нее был ключ, и раньше она входила через парадную дверь. Но теперь ей приходилось заходить через служебный вход, чтобы фрау Хофмайстер не увидела ее из окна. Эта

женщина постоянно все разнюхивала; она и была надсмотрщиком в нашем доме. Я даже затылком чувствовала ее взгляд. Всякий раз, когда я выходила на улицу, ее взгляд преследовал меня и пригибал к земле. Она была пиявкой, которая бы отдала что угодно за то, чтобы заиметь одно из маминых платьев, попасть к нам в квартиру и вынести оттуда все украшения, сумки и обувь ручной работы, которая никогда бы не налезла на ее пухлые ноги.

– За деньги хороший вкус не купишь, – вынесла вердикт мама.

Фрау Хофмайстер тратила на платья целое состояние, но на ней они всегда смотрелись как с чужого плеча.

Я не могла понять, почему мама одевалась и красилась так, как будто она собиралась на вечеринку. Она даже наклеивала накладные ресницы, придававшие ее полуприкрытым глазам еще более томное выражение. У нее были очень широкие веки, «идеальные для макияжа», как говорили ее подруги. Но она наносила на лицо лишь небольшое количество косметики: немного румян и пудры, немного туши и несколько серых штрихов вокруг глаз. Помадой она пользовалась только по особым случаям.

Наша столовая становилась все просторнее с каждым днем. Я откинулась на стуле и всмотрелась в родителей с расстояния. Я не могла разглядеть их лиц, их черты казались размытыми. Единственным источником света была лампа, висевшая над столом и придававшая тарелкам из китайского фарфора бледно-оранжевый окрас.

Мы сидели вплотную к прямоугольному обеденному столу из красного дерева с массивными ножками. Рядом с папиной тарелкой я увидела номер журнала «Немецкая девушка», пропагандистское издание Союза немецких девушек. Все мои друзья – а точнее, одноклассницы – были подписаны на него, но папа никогда не разрешал мне приносить домой этот «печатный мусор». Но я не понимала, зачем он положил журнал рядом с собой. Может, начнем есть? Они оба выглядели озабоченными и сидели, склонив голову. Казалось, они не решаются заговорить со мной. В молчании они одновременно подносили ложки с супом ко рту и с трудом его проглатывали. Никто из родителей даже не посмотрел на меня. Что я сделала? Папа перестал есть и поднял голову. Теперь он пристально смотрел на меня. Он перевернул журнал и со сдерживаемым гневом подтолкнул его ко мне.

Я не могла в это поверить. Что теперь со мной станет? Лео меня возненавидит. Мне придется забыть о наших ежедневных полуденных встречах в кафе фрау Фалькенхорст. Никто больше со мной не станет пить горячий шоколад. Сын булочника оказался прав, Лео. Тебе следовало меня бросить. И не приходи искать меня.

На обложке журнала для чистых молодых девушек – тех, что не носят клеймо, полученное от четверых прародителей, у которых маленькие вздернутые носики, белая, как пена, кожа, а глаза голубее неба, в которых нет ни намека на несовершенство, – была именно я, улыбающаяся, смотрящая вдаль. Я стала «Немецкой девушкой» месяца.

Казалось, в столовой совсем пусто. Даже не было слышно стука ложек, погружаемых в злосчастные тарелки с супом. Никто со мной не говорил. Никто меня не упрекал.

– Папа, я не виновата! Поверь!»

Фотограф, которого мы посчитали доносчиком, оказался огром, работавшим на издание «Немецкая девушка». А я-то считала, что даже если бы я в тот день терлась так, что кожа бы слезла, он все равно обнаружил бы мое клеймо, и именно поэтому он меня и сфотографировал.

– Как же он мог так ошибиться? – спрашивала я, но никто не отвечал.

– Ты грязная, Ханна. Больше не садись за стол в таком виде, – сказала мама, и впервые этот эпитет в мой адрес не показался мне ругательством.

Да, я замаралась, и мне хотелось, чтобы весь мир знал, что меня заботит, грязная ли я, запачканная или растрепанная. Я хотела сказать это родителям, но не могла, поскольку в итоге мы все были грязными. Никто этого не избежал. Даже изящная и высокомерная Альма Штраус, которая теперь носила фамилию Розенталь и была такой же грязной, как и нежелательные личности, ютившиеся в тех комнатах в квартале Шпандауэр-Форштадт. Этого не избежал и папа, знаменитый профессор Макс Розенталь, который сейчас печально расхаживал взад и вперед по комнате, глядя в пол. Я вышла из-за стола и пошла переодеться, чтобы сделать маме приятное.

Я надела идеально отутюженное белое платье с короткими рукавами. Тебе такое нравится, мама? Я не надену это платье в тот день, когда нам придется все бросить. Я не могла в нем пошевелиться. Иначе оно растянется. Если я сяду, оно помнется. Даже от слезинки на ткани оставалось пятно. Еще я вымыла руки, так тщательно их намылив, что они так и пахли сульфатом, когда я вернулась к столу. Когда я ела суп, мама оглядела меня с ног до головы, но без недовольствия.

Папа вздохнул. Он взял журнал и убрал его в портфель.

– Возможно, обложка этого журнала с твоим лицом когда-нибудь принесет пользу, – сказал он, сдаваясь. – Вред она уже принесла.

– Мы можем хотя бы теперь спокойно поесть? – сказала мама.

Тишину в комнате нарушал только тихий скрип ложек о мейсенский фарфор, которым мама начала пользоваться только тогда, когда узнала, что ей вскоре придется оставить его и он достанется какой-нибудь вульгарной берлинской семье.

– Фарфор, который принадлежал семье Штраус более трех поколений, – вздохнула она и съела еще ложку супа.

Я не притрагивалась к своей тарелке. Мне казалось, что, если я разобью какой-нибудь предмет, родители совершенно точно отправят «немецкую девушку» на поезде неизвестно куда. И горе мне, если я издам хоть звук, поглощая этот прозрачный безвкусный суп, в котором плавала лишь пара картофелин и грубо нашинкованный красный лук, – тогда меня отправят прямиком в кровать на голодный желудок.

– Мадагаскар, – сказал папа.

Я не имела ни малейшего понятия, о чем он говорит. Мама поднесла ложку с уже остывшим супом ко рту и медленно опустила ее. Молчание. Я ждала, когда папа продолжит. Мадагаскар.

– На каком континенте находится Мадагаскар? В Африке? Мы поедем так далеко? – спросила я, но они мне не ответили.

Богиня старалась сдержаться, но слеза все же покатилась по ее щеке. Поспешно вытерев ее белой кружевной салфеткой, она улыбнулась и слегка коснулась моей руки, чтобы показать, что она не придает этому значения. Печаль отступила. Нам придется эмигрировать: другого выбора нет.

– Чем дальше мы уедем, тем лучше, – произнесла она, подкрепляя сказанное еще одной ложкой супа. Поднеся белые как снег руки к шее, она огладила ее аристократичным движением.

– Эфиопия, Аляска, Россия, Куба, – продолжал папа перечислять возможные направления.

Мама посмотрела на меня и улыбнулась. Потом она заговорила и, казалось, не собиралась останавливаться:

– Не плачь, Ханна. Мы поедем куда придется. Мы знаем несколько языков. И если понадобится, выучим еще. Мы совсем другие, пусть даже они относятся к нам так же, как и к остальным. Начнем все сначала. Если у нас не будет дома напротив парка или на берегу реки, будет на берегу моря. Давайте насладимся последними днями в Берлине.

Ее спокойствие напугало меня. Она говорила, выделяя каждое слово и растягивая гласные, как в церкви. Остановилась набрать воздух и продолжила. Я почувствовала, что она вот-вот расплчется, начнет обвинять отца, проклинать свою ужасную жизнь, прошлое и наследственность.

Она казалась настолько хрупкой, что я была уверена: она не вынесет путешествия на Мадагаскар. Или же простой выход в отель «Адлон»; или последнюю прогулку к Бранденбургским воротам; или прощальный поход к колонне Победы, памятнику павшим в объединительных войнах Германии, который мы посещали осенними днями.

– Мы могли бы пойти в «Адлон», Ханна. Мы должны попрощаться с месье Фурно, он всегда был очень любезен. И с Луи, конечно же.

У меня слюнки потекли при мысли о сладостях, которые подавал нам месье Фурно. Я вспомнила, что, разворачивая мою салфетку, он наклонялся так близко, что его заостренный нос оказывался совсем рядом с моим лицом и я чувствовала его дыхание. Луи был сыном владельца, а теперь принял на себя управление. Он был в восторге от мамы и того уважения, которая она выказывала отелю. Обычно он приходил посидеть с нами и рассказывал, какие знаменитости из немецкого высшего общества, или даже Голливуда, находились в отеле в тот момент.

Маме было трудно принять тот факт, что теперь ей больше не рады в отеле, который она считала своим собственным. Она любила с гордостью говорить о том, что он был символом современной Германии и элегантности.

У отеля был мрачный фасад, но внутри своды поддерживали колоссальные мраморные колонны, а в холле находился необычный фонтан, украшенный скульптурами черных слонов.

В 1907-м мамини родители были приглашены на открытие отеля. В тот день дедушка подарил бабушке «Слезу» – несовершенную жемчужину, ее любимое украшение, которое, как из года в год напоминала мама, однажды станет моим. Когда ей исполнилось двенадцать, «Слеза» перешла к ней, и она носила ее только по особым случаям.

Однако теперь Луи привечал огров. Это были представители высшего общества и власти, которые придавали отелю его блеск, а не просто богатая наследница, считавшая себя более загадочной, чем богиня Гарбо, и сочетавшаяся браком с нуждающимся профессором. Теперь же мы оказались мерзкими людьми, портившими репутацию легендарного места.

Однажды, когда в доме чистили огромные персидские ковры, мы жили в двухкомнатных апартаментах отеля с видом на Бранденбургские ворота. Моя комната, примыкавшая к родительской, была чрезвычайно просторной. Каждое утро я отодвигала красные бархатные занавеси и открывала окно, впуская городской шум. Мне нравилось смотреть, как люди бегут за трамваями, наблюдать за многочисленными машинами, снующими по Унтер-ден-Линден. В холодном воздухе Берлина плавали ароматы тюльпанов, сахарной ваты и свежего пряного печенья с орехами.

Я тонула в перьевых подушках и сверкающих белизной простынях, которые меняли дважды в день. Завтрак мне приносили в постель, а горничные приветствовали меня, говоря:

– Доброе утро, принцесса Ханна.

Мы одевались ко второму завтраку, переодевались к чаю, а вечером снова меняли наряды.

– Да, конфеты Луи с вишнями, – сказала я оживленно, притворяясь ненасытным ребенком, чтобы повеселить маму.

Я внимательно наблюдала за ней: и ее медленные движения, и напряжение, с которым она подносила ко рту легкую ложку. Я хотела, чтобы она посмотрела на меня, осознала, что я существую. Мама, пожалуйста, давай ты снова будешь читать мне те романтические французские романы прошлого века. Расскажи мне о мадам Бовари, о той уставшей от жизни женщине, которая отчаянно влюбилась. Ты очень хотела назвать меня Эммой в ее честь, но отец не позволил.

Единственная деталь, которую я помнила из этого произведения о любовных связях и предательствах, – тот факт, что Эмма периодически выпивала ложку уксуса, чтобы муж думал, что она больна и истощена. Однажды утром я рано встала; мне было очень грустно, хотя ни ты, ни Ева ничего не заметили. Я пошла на кухню и выпила уксуса, чтобы на лице отразилось то, как я себя чувствовала. Еще мне хотелось иметь всегда наготове хлопковый платок, смоченный в уксусе, как у Эммы, на случай, если кто-нибудь потеряет сознание. Но в нашей семье только я теряла сознание, и все из-за одного вида крови. Ты не должна была ожидать, что я теперь буду умненькой маленькой девочкой с хорошими манерами, которая может беседовать в чайных кафе о литературе и географии. С тобой мне хотелось вести себя отвратительно, бегать, кричать, прыгать и плакать. Был даже эпизод, когда я раскапризничалась, как обычная маленькая девочка:

– Я никуда не пойду! Я не хочу никуда выходить из комнаты! Вы идите и оставьте меня здесь с Евой!

Я взяла с собой в кровать куклу в красном платье из тафты. Мама подарила мне ее в прошлом году, но я ее терпеть не могла. Я притворялась маленькой девочкой и винила родителей за все, но в глубине души я знала, что моя судьба

не зависела ни от меня, ни от них; а они просто старались выжить посреди разрушающегося города.

В дверь постучали. Я спряталась под простынями, но почувствовала, как кто-то подошел и сел на кровать рядом со мной. Это был папа, смотревший на меня с сочувствием.

– Моя девочка, моя немецкая девочка, – сказал он, и я позволила моему самому любимому в мире человеку обнять меня.

– Мы будем жить в Америке – в Нью-Йорке, – но мы все еще в списке ожидания на въезд. Поэтому сначала нам придется поехать в другую страну. Только на время, я обещаю. – Голос отца успокоил меня. Его тепло согревало, а дыхание окутывало меня. Если он продолжит говорить со мной так же размеренно, я скоро усну. – Наша квартира в городе небоскребов уже ждет нас, Ханна. Мы будем жить в доме, увитом плющом, на Морнингсайд-драйв, который называется Мон-Сени, как горный проход. Из гостиной мы сможем каждое утро наблюдать восход солнца.

Сейчас, папа, самое время дать мне поспать. Я не хочу знать, о чем ты мечтаешь. Я хочу, чтобы ты спел мне колыбельную, как раньше, когда я была маленькой и засыпала у тебя на руках, самых сильных в мире. Я снова стала хорошей девочкой и не собиралась вмешиваться в дела взрослых. Девочкой, которая не хочет от тебя отделяться, а, напротив, льнула к тебе, пока не погрузилась в сон. Я снова стану ребенком. Я проснусь и подумаю, что это был кошмарный сон. Что ничего не изменилось.

Отец не переживал из-за того, что мы потеряем то, что было нашим по праву, или из-за того, что нам придется уехать из Берлина в какой-то удаленный уголок земли. Он имел профессию. И он мог начать все сначала без гроша в кармане: у него это было в крови. Отец переживал за маму, поскольку видел, что каждый прожитый день ложится на ее плечи грузом целого года.

Не думаю, что мама могла бы приспособиться к жизни за пределами дома, без украшений, платьев и духов. Вне всякого сомнения, она сойдет с ума. Мамина жизнь мерно текла в стенах дома, принадлежавшего ее семье уже несколько поколений. Единственное место, где ей нравилось жить в окружении фотографий ее родителей, где она хранила Железный крест – награду, которую

ее дедушка принес с Великой войны.

Отцу же будет больше не хватать граммофона и пластинок. Ему придется проститься с Брамсом, Моцартом и Шопеном навсегда. Но, как он всегда говорил, у музыки есть замечательное свойство: ее всегда можно взять с собой в своей памяти. И никто у тебя ее не отнимет.

А я уже начинала скучать по тому времени после полудня, которое я проводила с отцом в его кабинете. По тому, как я открывала для себя страны по его древним картам, слушала рассказы о его путешествиях в Индию и вверх по Нилу, представляя себе экспедицию в Антарктику или сафари в Африке, куда мы отправимся вместе.

– Однажды мы с тобой непременно это осуществим, – говорил отец в утешение.

Не забудь обо мне, папа. Я хочу снова стать твоей ученицей, изучать географию далеких континентов. И мечтать, просто мечтать.

Анна

Нью-Йорк, 2014

Я закрыла глаза – и вот я уже на палубе огромного корабля, плывущего неизвестно куда. Я открыла глаза, и меня ослепило солнце. Я девочка с подстриженными волосами на борту корабля посреди океана.

Я проснулась, но все еще не знала, кто я: Ханна или Анна. Мне казалось, что мы с ней – один человек.

На деревянном обеденном столе мама разложила черно-белые фотографии, добравшиеся до нас с острова в Карибском море, расположенного в нижней части карты.

В прихожей, на белой стене, рядом с деревянным книжным шкафом, теперь можно увидеть увеличенную фотографию девочки, выглядывающей из

иллюминатора. Она не смотрит на берег, на воду или вдаль. Она как будто бы ждет чего-то. Нельзя сказать, пришли ли они в порт или все еще в море.

Она с обреченным видом подпирает голову рукой. Волосы девочки разделены на косой пробор, а стрижка открывает круглое лицо и нежную шею. Кажется, у нее светлые волосы, но контрастность на фотографии такая высокая, что мне трудно выделить ее глаза, не то что сказать, действительно ли она похожа на меня.

– Профиль, Анна, профиль, – сказала мама с улыбкой. Она тоже очарована фотографиями, особенно той, где была эта девочка.

Я нашла журнал с рассыпающимися страницами и выцветшими, размытыми фотографиями, чтобы удостовериться, что на обложке изображена та же девочка. Я пролистала его, но так и не нашла упоминания о плавании через Атлантику. Никто не мог разгадать эту тайну. Мама немного знает немецкий, но она почти не смотрела на журнал – ее больше интересовали фотографии, которые мы проявили. Она начала их сортировать: семейные портреты, изображения интерьера, снимки на борту корабля. На одном конце стола она отложила фотографии одного и того же мальчика.

Даже не верится, что письму с Кубы удалось поднять маму с постели. Теперь она была совершенно другой женщиной. Я все еще не знала, стал ли причиной сам конверт или ужас предыдущего дня. Но я чувствовала, что она впервые обращала на меня внимание и принимала меня в расчет. Я видела, как напряженно она разглядывала фотографии семьи, бегущей на другой континент от надвигающейся войны.

– Это как смотреть фильм, снятый в Берлине двадцатых или тридцатых годов, – мире, который вот-вот исчезнет. От тех дней, Анна, почти совсем ничего не осталось, – сказала мама, тщательно изучая фотографии.

Она убрала волосы за уши, как раньше, и даже нанесла легкий макияж. Если повезет, в эти выходные она разрешит мне ее накрасить и поиграть с косметикой, как мы делали раньше, когда я еще не ходила в школу, а она не лежала целыми днями в постели.

Мне уже нужно было идти делать уроки, но я предпочла остаться с мамой за столом. Еще несколько минут, а потом я пойду на кухню и сделаю чай.

Выбитые витрины магазинов, звезда Давида, разлетевшиеся повсюду осколки, граффити на стенах, грязные лужи, мужчина, отворачивающийся от фотоаппарата, печальный старик, нагруженный книгами, женщина с огромной детской коляской, другая дама, в шляпе, перепрыгивающая через лужу, сверкающую как зеркало, влюбленная пара в парке, мужчины в черной одежде и шляпах. Кажется, на них была форма. Все мужчины в головных уборах. Переполненные трамваи. И снова стекло... Фотографа явно привлекали осколки стекла на мостовых.

Также мама принесла домой диск с фотографиями, чтобы я могла распечатать их так, как мне хотелось, обрезать или увеличить. Мне еще много предстоит выяснить. Когда чай был готов, я подошла к маме поближе. Воспользовавшись моментом, я закрыла глаза, глубоко вздохнула и ощутила аромат ее мыла. Мой взгляд остановился на фотографии у мамы в руках, на которой было изображено красивое здание с крышей, разрушившейся при пожаре. Я посмотрела на ее короткие ногти с маникюром, пальцы без колец – даже без обручального кольца – и погладила их. Она откинула голову назад и прижалась ко мне. Мы снова были вместе.

– Какой же ужасной была ночь на десятое ноября 1938 года. Никто такого не ожидал.

У мамы стоял ком в горле. Я слушала ее рассказ об ужасных драматических событиях, но не чувствовала печали, только радость от того, что мама со мной. Я боялась, что из-за огорчения она снова может вернуться в постель. Лучше подождать с фотографиями, пока она полностью не поправится. Но она продолжала:

– Во всех магазинах были выбиты стекла. Возможно, одна из разоренных лавок принадлежала твоим прадедушке и прабабушке. Кто знает. Хрустальной ночью, или Ночью разбитых витрин, были сожжены все синагоги. Только одна осталась, Анна.

Мужчин забирали, разлучали семьи. Всех женщин заставляли называть себя Сарами, а мужчин – Израилами, – и мама поспешно добавила: – Я говорила отцу, что скорее бы умерла, если бы мне пришлось сменить имя. Некоторым удалось бежать, других позже отправили в газовые камеры.

Настоящий фильм ужасов. Я не могла представить нас двоих в том городе. Не знаю, выжила бы мама. В то время Берлин для таких, как мы, был просто адом. Люди потеряли все.

– Они бросали дома, оставляли всю привычную жизнь. Мало кто выжил. Люди прятались в подвалах, бежали из страны – это был их единственный шанс. На них нападали на улице, их арестовывали, бросали в тюрьму, и больше никто никогда их не видел. Некоторые решали отправить детей одних в другие страны, чтобы их вырастили в другой культуре, другой религии, в незнакомых им семьях.

Я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Я увидела отца в Берлине, Гаване, Нью-Йорке. Я немка. А это моя семья, и их вынуждают называть себя Сарами и Израилами. Их дело уничтожено. Семья, которая сбежала и выжила. Вот откуда я происхожу.

Мама считает, что самые печальные фотографии – интерьерные снимки, но на них изображены хорошо одетые мужчина и женщина в просторных комнатах, напоминающих дворцовые залы. Женщина стоит напротив окна, она высокая и элегантная, в платье, плотно облегающем талию, и широкополой, надетой набок шляпе. На мужчине костюм и галстук, он сидит рядом со старинным граммофоном, репродуктор которого выгнулся, как гигантский цветок. На другом фото эта же пара уже одета на выход. Мужчина облачен во фрак, а на женщине длинное шелковое вечернее платье.

– Бог знает, были ли они разлучены или смогли умереть вместе, – продолжала мама, и в ее голосе слышались переживаемые ею сильные эмоции.

На моих же любимых фотографиях был мальчик с большими черными глазами. На снимках он бегал, прыгал, залезал в окно и по фонарному столбу или лежал на траве. Совершенно точно один и тот же мальчик на всех фотографиях. И он все время улыбался.

Я поднялась и встала перед размытой фотографией. Мы действительно похожи. Девочка на корабле та же, что и на обложке журнала Союза немецких девушек. Думаю, на выходных я сделаю стрижку, как у нее.

– Это Ханна, тетушка, которая вырастила твоего папу, – услышала я мамин голос у себя за спиной. Она обняла меня и поцеловала. – Тебя называли Анной в ее честь.

* * *

Я хотела выбраться из этой ловушки, но не могла. Я не знала, где я, и попыталась открыть глаза, но мои веки были плотно закрыты. Воздуха! Мне нужен воздух!

Это очередной кошмарный сон или я не сплю? Руки отяжелели и тянули меня в пропасть. Я не чувствовала ног, они были холодными. Вся моя сила испарилась, и как раз когда из моих легких вышел воздух, я потеряла сознание и уплыла неизвестно куда. Я подняла голову, и мой нос появился...на поверхности? Я выпрямилась, повернула голову налево, потом направо, пытаюсь понять, где я, в то время как ветер хлестал мне в лицо.

Лицо мокрое, кожа горела. Голова такая горячая, что даже кружилась; а телу так холодно, что его почти парализовало. Я отчаянно дышала и глотнула воздух вместе с соленой водой. Мне казалось, что я сейчас утону, и я непроизвольно закашлялась, пока горло не начало саднить. Потом я открыла глаза.

Я куда-то плыла.

И я увидела свое отражение в воде. Я была той девочкой с корабля.

Я не знаю, как я сюда попала, но теперь мне нужно подумать, как вернуться обратно, если это возможно. Мои зрачки расширились, а в глаза залилась соленая вода. Я начала двигать руками, чтобы удержаться на плаву; потом я стала помогать себе ногами. Я была жива и бодрствовала. Кажется, я могла попытаться плыть.

Я протерла глаза и увидела, что кожа на ладонях сморщилась. Кто знает, сколько времени я провела в холодной воде. Я была на пляже? Нет: я плыла в темных водах океана.

– Мама! – Зачем я кричу, если я одна? – Мама!

Не было никакого смысла тратить тот небольшой запас сил, который еще оставался. Греби как можно энергичнее! Ты сильная. Плыви к берегу, полагаясь на помощь ветра, волн и течения.

Свет ослепил меня. Мне пришлось снова закрыть глаза. Меня мучила жажда, но я не хотела пить соленую воду. У меня теперь еще более глубокие порезы, и в них попадала морская вода. Все мое тело горело.

Я должна была плыть бесконечно. В противоположную от солнца сторону. Потом я увидела берег. Да, я могла различить очертания города. Там были деревья и белый песок. Нет, это не город, а остров.

Я плыла короткими рывками. Против ветра, волн и солнца. Яркий свет слепил глаза.

К берегу! Вот твоя цель. Ты сможешь.

Конечно, я могла, но я засыпала.

Нет! Проснись и плыви дальше. Не надо останавливаться!

Я позволила себя тащить, переваливая через препятствия.

Папа ждет меня. Это тот остров, до которого он добрался в день своего исчезновения; он нашел здесь пристанище. Может быть, он летел на самолете, который потерпел крушение и упал в море. Как и я, он плыл и плыл, пока не добрался до берега.

Вот почему меня выбросило в море. Потому что я знала, что ты там и наблюдаешь за мной. Папа, я пришла и буду твоей Пятницей. Мысль, что я найду тебя, – единственное, что меня все еще держит на плаву. Мы с тобой будем вместе, как два Робинзона на пустынном острове. И ты будешь защищать меня от каннибалов, пиратов и ураганов.

Периоды засухи и наводнений, и мы отправимся на сухую землю, на континент. Мама будет ждать нас там. Потому что ты нужен ей так же сильно, как и мне.

И вот я выбралась из воды. Мое тело лежит на горячем песке, прилипающем к горячей коже.

На солнце мои мысли путаются. Я открываю глаза и вижу тебя. Это ты? Я знала, что ты меня не бросишь. Что в один прекрасный день придешь за мной. Что мы встретимся где-то далеко, на другом континенте, на острове, затерянном в океане. Что я буду твоей девочкой. Твоей единственной дочерью, за которой ты всегда будешь присматривать.

– Анна! – закричал кто-то.

Я быстро встала. Это мама. Я, вся мокрая от пота, лежала в собственной постели, в своей комнате. Это мой остров. Я поискала отца на прикроватной тумбочке, и вот он, рядом с открыткой с пароходом от его тетушки, смотрел на меня со своей полуулыбкой.

Мама обняла меня, и я расплакалась. Я снова ее маленькая девочка, и я кинулась в ее объятия, чтобы она меня утешила и приласкала. Мама начала напевать. Я не могла поверить: это была колыбельная. Закрыв глаза, я слышала ее нежный голос, шепчущий мне на ухо: – Баю-баюшки-баю, баю-баюшки-баю.

Я снова мамина малышка. Я зарылась в нее, притянула ее к себе и снова слышала ее голос. Да, мама обычно пела мне эту колыбельную в детстве, когда мне снились кошмары. Спой еще, мама. Мы с ней все еще здесь, ждем того дня, когда получим удивительное известие о том, что папа жив и находится на далеком острове, что его спасли и он возвращается к нам.

– Что мы будем делать на твой день рождения? – Мама перестала петь, и я открыла глаза.

Даже не припомню, чтобы на мой день рождения кто-нибудь приходил. Мы всегда были с мамой вдвоем, ели шоколадный кекс с розовой свечкой. Большинство моих подружек из Филдстона жили за городом, поэтому обычно я видела их только в школе на уроках.

На самом деле меня не очень-то интересуют вечеринки. Мне хочется что-нибудь получше: к примеру, путешествие. Да, давай пересечем Мексиканский залив. Давай покорим карибские воды, взглянем мельком на берег острова, залитый

солнцем и заросший простыми и кокосовыми пальмами. Мы зайдем в порт, где нас будут встречать с цветами, шариками и музыкой. Люди будут танцевать на берегу и освободят нам проход, чтобы мы сошли на обетованную землю.

– Куба! Давай отправимся на Кубу!

На лице мамы застыло напряженное выражение: она приоткрыла рот, и в ее глазах загорелся огонек. Я хотела сказать ей: «Мама, мы не одни», но мне не хватило смелости.

– Мы могли бы встретиться с папиной семьей и тетусшкой, которая его вырастила, – сказала я. Но сначала мама никак не отреагировала.

Если повезет, тетусшка отца присмотрит за мной, вдруг что-то случится с мамой. Возможно, я даже отыщу других дядей и тетусшек или кузенов, которые смогут позаботиться обо мне, пока я не стану достаточно взрослой, чтобы принимать за себя решения, безо всякого социального работника, норовящего отправить меня в незнакомую семью.

Теперь же у меня есть цель: узнать, кем был мой отец на самом деле.

– Почему бы нам не поехать на Кубу? – настаивала я.

Мама продолжала молчать. Потом улыбнулась и обняла меня:

– Завтра мы поговорим с твоей тетей Ханной.

Ханна

Берлин, 1939

На нашу встречу в кафе фрау Фалькенхорст я пришла рано. Не увидев Лео, я принялась бродить вокруг железнодорожной станции Хаккешер-Маркт. Ее запрудили солдаты. В тот день там даже было более многолюдно, чем обычно.

Что-то происходило, а Лео со мной не было. И флагов больше. Все, что я видела вокруг себя, окрасилось в красный и черный. Просто пытка. Улицы были увешаны плакатами и заполнены мужчинами и женщинами со вздернутыми к небу руками.

По громкоговорителям взволнованный голос оповещал о дне рождения, празднике в честь человека, который как раз менял судьбу Германии. Человека, за которым нам полагалось идти, которым нам следовало восхищаться и которому мы должны были поклоняться. Самый чистый человек в стране, где очень скоро будет позволено жить только таким же чистым людям, как он. Из-за громкоговорителей не было слышно объявлений о прибытии и отправлении поездов. А огромный плакат возносил благодарность главному огру за ту Германию, в которой мы жили: – Мы благодарим тебя. Затем кантата Баха разнеслась эхом под сводами станции: – Мы благодарим тебя, Господь, мы благодарим тебя. То есть теперь огр стал богом. Это было двадцатое апреля.

Мое зеленое платье так хорошо сливалось с плиткой на стенах станции, что я почувствовала себя хамелеоном. Когда Лео меня увидит, он прыснет со смеху. Я побежала к выходу, соединенному с кафе, и наткнулась на него.

– Ну и что же мне скажет немецкая девушка с Французишештрассе? – рассмеялся Лео, и насмешливые огоньки, заплывавшие в его глазах, придали им еще более лукавое выражение. – Мы едем на Кубу. И ты увидишь, как этот журнал откроет для тебя двери. Здесь немецкая девушка, здесь! – кричал он и смеялся.

Куба. Еще одно новое место. Лео все узнал.

Он был уверен, что речь идет о Кубе. Начался дождь, поэтому мы побежали к раскинувшемуся рядом универмагу «Герман-Тьетц», который больше не носил это название, поскольку оно было слишком грязным. Теперь его называли «Герти», чтобы не оскорбить ничьих чувств. Несмотря на дождь и время суток, все этажи казались пустыми.

– Куда все делись?

Мы нашли центральную лестницу и помчались по ней. Мы наткнулись на нескольких женщин, которые смотрели на нас, будто гадая, где взрослые,

которые присматривают за нами. Мы прошли этаж, где над перилами висели персидские ковры, и достигли верхнего этажа под стеклянной крышей, где мы увидели падающие дождевые капли.

– Куба? Где находится Куба? В Африке или в Индийском океане? Это остров? Как это пишется? – вопрошала я, пока, сбив дыхание, бежала за Лео, желая присесть, чтобы больше не лавировать среди женщин, несущих сумки с покупками.

– K-U-B-A, – Лео произнес по буквам немецкий вариант написания. – Они говорят о покупке билетов на пароход. Твой отец собирается помочь нам с нашими.

Это был остров. Единственное место, куда мы могли бы уехать. Я надеялась, что он был далеко от огров.

– Дождь утих; погнали. – Лео припустил вниз по лестнице, не давая мне времени отдышаться. Бог знает куда он хотел сейчас отправиться.

Мы вышли на главную площадь, испещренную лужами. Мы отправились на трамвайную остановку, а Лео наклонился и начал рисовать в грязи крошечный круглый остров под контуром материка, как он сказал, Африки. Сделав карту из воды и грязи, Лео нарисовал город рядом с другой лужей.

– Вот здесь будет наш дом, на берегу моря.

Он взял меня за руку, и я почувствовала, какая она грязная и мокрая.

– Мы едем на К-у-б-у, Ханна!

Его лицо омрачилось, когда он увидел, что ему не удалось вызвать у меня такого же энтузиазма.

– Что мы будем делать на этом острове? – единственный вопрос, который я смогла задать ему, хоть и знала, что он не знает на него ответа.

Вариант с отъездом становился все более реальным, и я очень нервничала из-за этого. До сих пор мы справлялись с ограми и мамиными кризисами. Из-за одного

только осознания, что время отъезда приближается, у меня дрожали руки.

Внезапно Лео заговорил о браке, детях, совместной жизни. Но он даже не сказал мне, помолвлены ли мы. Мы так молоды, Лео! Я подумала, что он должен был хотя бы сделать мне предложение, которое я могла бы принять: ведь так было принято. Но Лео не верил в условности. У него были свои правила, и он рисовал свои собственные карты на воде.

Мы ехали на К-у-б-у. Наши дети будут кубинцами. И мы выучим кубинский диалект.

Когда Лео сидел на корточках, рисуя, у выхода из универмага, какая-то женщина со шляпной коробкой подпрыгнула и топнула по луже, уничтожив нашу карту на месте.

– Грязные дети, – прошипела она, глядя на Лео.

Я воззрилась на нее снизу вверх. Она была похожа на великаншу с толстыми волосатыми руками, а ее ногти походили на когти, выкрашенные в красный цвет.

Я не могла выносить всеобщую грубость. Хорошие манеры таяли с каждым днем. В городе, где каждый был готов бить окна и пнуть любого, кто попадался на пути, хорошие манеры были больше не нужны. Никто больше не разговаривал, все только кричали. Папа сокрушался, что язык потерял всю свою красоту.

Маме же немецкая речь, звучавшая из громкоговорителей по всему городу, давно казалась массой изрыгавшихся согласных.

Я подняла голову и увидела, что небо вот-вот разверзнется. Надвигалось скопище серых облаков, предвещавших грозу. Люди вокруг бежали к Бранденбургским воротам, чтобы посмотреть парад, о котором объявляли по громкоговорителям. Сегодня был праздник: самому чистому человеку в Германии исполнилось пятьдесят лет.

Сколько еще флагов может выдержать город? Мы пытались дойти до Унтер-ден-Линден, но не смогли пробиться. Дети и молодежь толпились у окон, стен и на балконах, чтобы посмотреть на военную процессию. Казалось, все они кричат:

«Мы непобедимы! Мы будем править миром!»

Лео издевался над ними и, имитируя их приветствие правой рукой, поднимал ладонь вверх в знаке «Стоп!».

– Ты с ума сошел, Лео? Эти люди не принимают такие вещи за шутку, – сказала я, дергая его за руку. И мы снова ринулись в толпу. Теперь нам предстояло целое приключение – нужно было добраться до дома.

Сверху донесся оглушительный шум. Над головой пронесся самолет, потом еще один, и еще. В небе над Берлином появились десятки машин. Лео вдруг посерьезнел. Когда мы прощались друг с другом, мимо проскакал отряд конной кавалерии. Они смотрели на нас с изумлением, как бы говоря: «Почему вы здесь, а не на параде?»

Придя домой, я первым делом отправилась на поиски атласа.

Я не смогла найти Кубу ни на страницах с изображением Африки, ни в Индийском океане, ни рядом с Австралией, ни с Японией. Куба не существовала, ее не было ни на одном континенте. Это была не страна и не остров. Мне понадобилось увеличительное стекло, чтобы рассмотреть мельчайшие названия, затерянные в темно-синих крапинках.

Возможно, это был остров рядом с другим островом или никому не принадлежащий крошечный полуостров. Он вполне мог быть необитаемым, и мы были бы первыми поселенцами.

Мы бы начали с нуля и превратили Кубу в идеальную страну, где каждый мог бы быть светловолосым или темноволосым, высоким или низким, толстым или худым. Где можно было бы купить газету, позвонить по телефону, говорить на любом языке и называть себя как угодно, не обращая внимания на цвет кожи и на то, какому богу человек поклоняется.

По крайней мере, на наших водных картах Куба уже существовала.

* * *

Я всегда думала, что нет никого более мужественного и умного, чем папа. В расцвете сил у него был идеальный профиль, как говорила мама: как у греческой скульптуры. Но теперь она больше его не превозносила. Она больше не спешила к нему навстречу, когда он возвращался усталый из университета, где его очень уважали. Ее лицо больше не светилось от радости, когда ее называли дамой ученого доктора или женой профессора на светских мероприятиях, где она выглядела божественно в своих плиссированных вечерних платьях от «Мадам Грэ».

– Никто не может сравниться с французскими портнихами, – хвасталась она своим поклонникам.

Папе нравилось видеть ее такой: счастливой, чувственной, элегантной. Дар выглядеть загадочно, который взращивали в себе многие кинозвезды, казалось, был у нее врожденным.

Каждый, кто видел ее впервые, не мог успокоиться до тех пор, пока его не представляли божественной Альме Штраус. Она была идеальной хозяйкой. Мама могла со знанием эксперта говорить об опере, литературе, истории, религии и политике, никого не обижая. Она идеально дополняла отца, который, будучи погруженным в собственные мысли, временами приводил людей в недоумение разговорами о сложных научных теориях.

Отец изменился. Его опустошили страдания и беспокойство, которые он испытывал из-за поисков страны, которая могла бы нас принять. Этот непобедимый человек стал еще более хрупким, чем лист с самого старого дерева в Тиргартене, который подарил мне Лео и который я хранила в своем дневнике. У папы каждый день появлялась новая жалоба.

– Я теряю зрение, – сказал он нам однажды утром.

Я наблюдала, как он постепенно умирает. Я понимала это и была готова.

Я буду сиротой, потерявшей отца, и мне придется ухаживать за подавленной матерью, которая не переставала оплакивать дни своей былой славы.

Я понятия не имела, как победить инертность, в которую мы все трое впадали, когда встречались дома. У нас ничего не получалось. Я не могла предсказать, по

какому пути мы пойдем, но чувствовала, что нас ожидает сюрприз. А я терпеть не могла сюрпризы.

Пришло время принять решение. Не имело значения, совершим мы ошибку или окажемся не в том месте. Нам нужно было что-то сделать.

Даже если это значило, что нужно ехать на Мадагаскар или на К-у-б-у, о которой говорил Лео.

А я все думала: «Где же находится К-у-б-а?»

Анна

Нью-Йорк, 2014

Мама сказала, что моя двоюродная бабушка – одна из выживших, как и мистер Левин. Должно быть, она вся в морщинах и пятнах, с редкими белыми волосами, сгорбленная и одеревеневшая. Наверное, она не может ходить, или опирается на палочку, или сидит в инвалидном кресле. Но у нее достаточно острый ум, и ее отличает особенное чувство юмора и мягкость с нотками горечи, что и покорило маму.

После разговора с бабушкой она пришла в удивление. Мама сказала, что она говорит очень четко, медленно и осторожно, и из-за голоса создается впечатление, что она моложе, чем есть самом деле. Она без проблем переходит с английского на испанский. Мама уверена, что мы увидим отнюдь не дряхлую старуху.

– Она такая спокойная и безмятежная, – заметила мама, будто размышляя вслух. – Она не грустит, Анна. Она смирилась со своим положением, но хочет познакомиться с тобой. Сказала, что ей это необходимо.

Для меня Куба – пустой звук. Когда мне из своей комнаты было слышно, как мама болтает с мистером Левином о нашей поездке, они то и дело говорили о стране, где всего в обрез. Но я представляла себе необитаемый остров,

утопающий в бушующих волнах, на который обрушиваются ураганы и тропические шторма. Крошечная точка посреди моря, где нет ни зданий, ни улиц, ни больниц, ни школ. Ничего – или, точнее, пустота. Я не знаю, как отец мог учиться там. Возможно, именно поэтому он оказался на Манхэттене, настоящем острове в шаге от суши.

Семья отца прибыла на Кубу на корабле, там они и остались. Но он вырос и уехал, как почти все, кто родился на Кубе.

– Нужно уезжать с островов, – всегда говорил он маме. – Именно об этом думаешь, когда единственная граница – это бескрайнее море.

Папа был застенчив. Он не умел танцевать, он не пил и никогда не курил. Мама шутила, что единственное, что в нем напоминает о Кубе, – это его старый паспорт. И испанский язык. У него было совсем не жесткое произношение, он выговаривал «с» и не проглатывал согласные.

Английский был его вторым языком, на котором он говорил свободно и без акцента благодаря тете, которая воспитывала его после смерти родителей. Он получил американское гражданство благодаря своему отцу, который родился в Нью-Йорке. Это было все, что маме удалось узнать за несколько лет их брака. И она уточнила все у двоюродной бабушки во время телефонного разговора, который то и дело обрывался.

Время от времени какой-нибудь фильм напоминал ей о человеке, с которым она решила создать семью, о которой он так и не узнал. Именно благодаря ему мама открыла для себя послевоенное итальянское кино. Папа был очарован Висконти, Антониони, Де Сика. Но ему также нравилась Мадонна. В этом состояло противоречие его натуры. Когда они начали встречаться, одно из первых их свиданий прошло в кинотеатре «Фильм Форум» в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене, где они смотрели оригинальную версию фильма Де Сика «Сад Финци-Контини», одного из папиных любимых фильмов. Папа всегда выходил из кинотеатра под впечатлением.

– Я увидела, как блестят его глаза, и он сказал, что я похожа на героиню в фильме, – вспоминала мама. – Со стороны человека, который очень мало говорил, это были очень романтичные слова, и я подумала: «Я могу жить с этим человеком». Твой отец никогда не показывал своих эмоций, но в кино он всегда

плакал.

Отец находил убежище в своей работе, книгах и темных кинотеатрах, где истории рассказывались с помощью движущихся изображений. У него не было друзей. Я представляла его супергероем, который пришел спасти угнетенных и тех, у кого ничего нет. Мама смеялась над моими дикими фантазиями. Но она никогда не критиковала их, потому что знала, что для меня он все еще жив.

Мама осталась совсем одна. Она была единственным ребенком, а ее родители умерли один за другим, когда она уже заканчивала колледж. Потом появился папа. Они познакомились на концерте барочной музыки в Колумбийском университете, где она вела занятия по латиноамериканской литературе.

В тот день, когда она объявила, что выходит замуж, никто из ее друзей не спросил, был ли папа латиноамериканцем, евреем или просто иностранцем, который находился в стране проездом. Его происхождение не имело значения: он хорошо говорил по-английски, и этого было достаточно. У него была работа в Центре ядерных исследований, а также хорошая квартира, которую он унаследовал от семьи.

Отец работал за городом, но у него был офис в центре, куда он ездил каждый вторник. Это были единственные дни, когда он приходил домой позже, но мама никогда не расспрашивала его об этом. Мой отец не был человеком, который мог дать повод в нем сомневаться или ревновать его. Не потому, что он не был красив, а потому, что он не любил осложнений или чего-то, что могло бы угрожать его личному пространству, которое уже было четко определено.

Она никогда не знакомила его со своими друзьями по факультету, и поэтому не было необходимости ничего никому объяснять. Все, что она знала об отце, это то, что его родители погибли в авиакатастрофе, когда он был маленьким мальчиком, и что его воспитывала тетя. Этого было достаточно. Он никогда не говорил о своем прошлом.

– Лучше забыть, – говорил он ей.

Я зашла в мамину комнату. Она стояла на коленях перед комодом и рылась в бумагах и книгах. Мама достала старую коробку из-под обуви, и я увидела пару запонок, мужские солнцезащитные очки и несколько конвертов.

Когда мама услышала, что я зашла в комнату, она обернулась и подарила мне свою лучшую улыбку.

– Кое-что из вещей твоего отца, – сказала она, закрывая коробку и протягивая ее мне.

Я побежала назад на свой остров с новым сокровищем и закрылась в комнате, чтобы рассмотреть его.

– Посмотри, сколько у меня сокровищ. Я уверена, что ты их помнишь, – шептала я отцу, чтобы мама не услышала. – Здесь документы, банковские выписки, но ни одной фотографии. Я рассчитывала найти еще одну твою фотографию. Я буду хранить твои записки и очки у себя в тумбочке.

На дне коробки я нашла синий конверт. Я осторожно открыла его: внутри – маленький листок бумаги того же цвета. Это папин почерк: письмо без даты адресовано маме. Внезапно мне пришло на ум, что я должна сказать ей о нем прежде, чем прочту его, но потом я придумала. Она отдала мне то, что хранила двенадцать лет, так что теперь все это мое.

Я тут же почувствовала, что проголодалась: так всегда бывает, когда я нервничаю. Но мне нужно успокоиться, потому что я собираюсь прочитать одно из твоих писем. Я не хочу узнавать никаких секретов; на Кубе нас ждет более чем достаточно тайн. Я прочитаю его для тебя, папа. Чтобы ты помнил о маме, которая никогда не забывает о тебе, несмотря на то что прошло столько лет.

Ида, любовь моя.

Сегодня пятая годовщина нашей совместной жизни, но я как сейчас помню тот миг, когда я впервые увидел тебя на задних рядах на том осеннем концерте в часовне Святого Павла в университете.

Ты говорила по-испански со своими студентами, а я не мог оторвать от тебя взгляда. Ты заслушалась музыкой. И у меня перед глазами стоит твой образ: я вижу, как ты убираешь волосы за уши, любуюсь твоим прекрасным профилем.

Я мог бы проследить его своими пальцами, от твоего лба до бровей, носа, губ, щек.

Ты все еще помнишь тот концерт, музыку, оркестр. А я помню только тебя.

Я никогда не говорю тебе, что люблю тебя, что ты лучшее, что есть в моей жизни. Что мне нравится молчать, быть рядом с тобой, смотреть, как ты спишь, просыпаешься, завтракать с тобой в выходные на рассвете. Говорил ли я тебе когда-нибудь, что время по утрам, которое мы проводим вместе, пусть даже мы не произносим ни слова, мое любимое, потому что ты рядом со мной?

Ты появилась в моей жизни, когда я уже смирился с тем, что никто не примет моего одиночества. Однажды мы должны отправиться путешествовать по миру, затеряться среди людей. Только ты и я. Обещаешь?

Ида, любовь моя, я всегда буду рядом с тобой.

Луи

Ханна

Берлин, 1939

Бывало, по утрам я просыпалась с ощущением, что не могу дышать. В такие дни я чувствовала, что трагедия все ближе, и мое сердце начинало бешено биться. Затем очень быстро и внезапно оно, казалось, совсем останавливалось. Жива ли я еще? Одним из таких дней был вторник. Я ненавидела вторники. Их следовало вычеркнуть из календаря. Как только мы с Лео приедем на Кубу, то сразу же объявим: «Больше никаких вторников!»

Когда я проснулась, меня лихорадило, но у меня не было ни простуды, ни боли. Папа, завязав галстук виндзорским узлом и уже держа в руках свою серую фетровую шляпу, измерил мне температуру. Он улыбнулся и поцеловал меня в лоб:

– С тобой все в порядке. Давай поднимайся.

Он побыл со мной некоторое время, еще раз поцеловал меня, а затем оставил меня в моей комнате. Звук хлопнувшей входной двери испугал меня. Теперь в квартире остались только мама и я. Брошенные.

Я знала, что у меня нет температуры и что я не больна, но мое тело отказывалось подниматься. У меня даже пропало всякое желание выходить на улицу и встречаться с Лео, чтобы фотографировать. У меня было предчувствие, но я не могла сказать, чего именно.

В тот день мама нанесла легкий макияж, но без накладных ресниц.

Она оделась в темно-синее платье с длинными рукавами, которое придавало ей немного официальный вид. Я надела коричневый берет, который она привезла мне из своей последней поездки в Вену, и закрылась в своей комнате с атласом, надеясь найти наш крошечный остров, который все никак не обнаруживался.

Мы вот-вот должны были куда-то уехать. Папа не мог и дальше держать в секрете наш конечный пункт назначения. Я была готова принять все что угодно.

С нами больше ничего не могло случиться: мы жили в состоянии ужаса, пока еще не объявленной войны; я не думала, что может быть что-то хуже этого.

Лео сказал, что папа даже купил дом на Кубе.

– Если мы не собираемся оставаться там надолго, зачем нам дом? – спросила я его.

Как всегда, у Лео был ответ:

– Это самый простой способ получить разрешение на въезд. Наличие дома показывает, что ты не будешь обузой для государства.

Я не знала, куда папа ходил каждое утро; ему запретили работать в университете. Должно быть, он ходил в консульства стран со странными названиями, чтобы получить для нас визы, документы беженцев. Или он общался

с отцом Лео, вынашивая какой-то план, который мог стоять им жизни.

Я представляла папу героем, идущим нас спасать. На нем была солдатская форма, а на груди – множество медалей, как у дедушки, который победил врагов немецкого народа. Мне виделось, как он противостоит ограм, которые были бессильны перед его мощью и сдавались, покоренные его доблестью.

Я уже начала путаться в этих тревожных мыслях, когда мама поставила пластинку в граммофон.

Это было сокровище отца, его самая драгоценная жемчужина. Его пространство.

Однажды, когда папа укладывал грампластинку в полированную деревянную коробку, он объяснил принцип работы этого чуда, из-за которого он часами пребывал в неопишемом восторге.

Это был настоящий фокус. Граммофон «Ар-си-эй Виктор», который он называл просто «Виктором», как близкого друга, имел подвижный рычаг, заканчивающийся металлической иглой, которая, не сбиваясь, плыла по бороздкам черного диска, все вращавшегося и вращавшегося, пока у меня не закружилась голова от одного взгляда на него. Звуковые волны превращались в механические колебания и выходили из огромного колокола – прекрасного золотого динамика в форме трубы. Вначале слышалось жужжание, что-то вроде металлического вздоха, который длился до тех пор, пока не начинала литься музыка. Мы закрывали глаза и представляли, что находимся на концерте в оперном театре. Музыка лилась из трубы, вся комната дрожала, и мы позволили ей захватить нас. Мы поднялись в воздух – невероятное ощущение для меня.

Затем я услышала слова маминой любимой арии: «Мое сердце открывается при звуках твоего голоса, как цветы раскрываются под поцелуями рассвета!»

Так что мне не о чем было беспокоиться. Мама была очарована музыкой французского композитора Камиля Сен-Санса, одной из тех пластинок, за которыми папа тщательно ухаживал и чистил их перед тем и после того, как ставить в граммофон. Это была недавняя запись, с его любимой меццо-сопрано Гертрудой Польсон-Веттергрэн. Однажды он поехал в Париж с мамой, чтобы послушать ее. По маминому лицу я поняла, что она погрузилась в воспоминания. Теперь вчерашний день был для нее чем-то далеким. Я же, в свою очередь,

слушая сильнейшую женскую арию, представляла, как я бегу по лугам с Лео, взбираюсь с ним на горы и переправляюсь через реки на острове, где мы будем жить.

Наверняка ничего плохого не случится. Папа придет домой к ужину. Я пойду на встречу с Лео, и мы найдем в атласе затерянный остров посреди неизвестного океана.

Я знала, что мне нужно взять с собой в чемодан. Фотоаппарат и, конечно, бесчисленные рулоны пленки. И только пару платьев, больше мне ничего не нужно. Я бы с удовольствием взглянула на мамин багаж. Она была бы счастлива, если бы ей разрешили взять драгоценности. Духи. Кремы. Нам бы понадобилась машина, чтобы увезти весь ее багаж.

Вдруг к нам в квартиру два раза громко постучали. Никто не навещал нас уже несколько месяцев. А у Евы был ключ от служебного входа.

Мы с мамой воззрились друг на друга. Музыка все играла. Мы обе знали, что момент настал, хотя никто меня к этому не подготовил. Я посмотрела на маму в поисках ответа, но она медлила; она не знала, что делать.

Она встала со своего глубокого кресла и подняла подвижный рычаг «Виктора». Пластинка перестала вращаться, и тишина заполнила гостиную, которая теперь казалась огромной, как замок. Я чувствовала себя насекомым в дверном проеме.

Последовали еще два громких стука. Мама вздрогнула. Ее губы задрожали, но она стояла выпрямившись, подняв подбородок и вытянув шею. Мама медленно пошла к двери – так медленно, что успело раздаться не два, а целых четыре громких стука, от которых комната задрожала.

Мама открыла дверь, сделала книксен и жестом руки пригласила их войти, не спрашивая, кого они ищут и что им нужно. Четверо огров один за другим вошли в гостиную, впуская с собой порыв холодного воздуха. Я вся дрожала. Ледяной сквозняк пробирал меня до костей.

Главный огр дошел до центра комнаты и остановился на толстом персидском ковре. Мама отошла в сторону, чтобы не загромождать обзор этому человеку, который пришел, чтобы навсегда изменить нашу жизнь.

– Вы хорошо живете, не так ли? – произнес он, не потрудившись скрыть зависть. Огр принялся внимательно осматривать комнату: портьеры с медным отливом, занавески из шелкового тюля, пропускающие свет из окна во двор, внушительный диван с желто-красными подушками, портрет мамы, написанный маслом, на котором она была изображена с той самой несовершенной жемчужиной на шее и открытыми плечами.

Огр осматривал каждый предмет со скрупулезностью беспощадного аукциониста. По его глазам было видно, какие вещи понравились ему больше всего и какие он планировал оставить себе.

В нашей гостиной пахло порохом, горелым деревом, разбитыми окнами и пеплом.

Я встала между мамой и ограми, заслонив ее от них как щитом. Когда она положила руки мне на плечи, я почувствовала, как она дрожит.

– Ты, должно быть, Ханна, – проговорил главный огр со светским берлинским акцентом. – Немецкая девушка. Ты почти идеальна.

Он произнес слово «почти» с такой неприязнью, будто дал мне пощечину.

– Насколько я вижу, герра Розенталя нет дома.

Когда он произнес имя папы, я подумала, что мое сердце разорвется. Я глубоко дышала, пытаюсь унять его бешеный ритм, чтобы они не услышали, как громко у меня пульсирует кровь. Я покрылась потом. На мамином лице застыла улыбка. А у меня онемели плечи от ее холодных рук.

Мне нужно было что-то придумать, чтобы сбежать из комнаты, от мамы и огров. Я стала разглядывать парчу на шелковых обоях. И на них тонкие пластины бесконечных листьев папоротника, заканчивающиеся букетиками цветов. Давай, Ханна, иди туда, куда ведут твои корни, и не думай о том, что произойдет, – повторяла я себе снова и снова. Один, два, три листа на каждом стебле.

Капля пота медленно покатилась по моему виску, и я больше не могла сосредоточиться. Я не осмелилась стереть ее, и она стекла мне на лицо.

Я почувствовала, что мама вот-вот сорвется. Пожалуйста, мама, не плачь. Не дай им увидеть, в каком мы отчаянии. Не гаси эту прекрасную, холодную улыбку. Дрожи, сколько хочешь, но не плачь. Они пришли за папой, и мы знали, что этот час настанет. Пришло время нам услышать стук в дверь.

Главный огр подошел к окну, чтобы проверить, на какую сторону улицы выходят окна в нашей гостиной, а также, вероятно, подсчитать, сколько стоит наша квартира. Затем он подошел к граммофону. Он поднял хрупкую папину пластинку, осмотрел ее и посмотрел прямо на маму.

– Ключевое произведение для любого меццо-сопрано.

Я почувствовала, что мама собирается предложить им чай или какой-нибудь другой напиток, и напряглась, пытаясь передать ей, чтобы она этого не делала. Оставайся такой, как есть, гордой, с прямой спиной. Я буду защищать тебя. Опирайся на меня; не дай себе сорваться и не предлагай ограм ничего.

Этот человек медленно обошел комнату, и по мере его продвижения вокруг него расширялся поток ледяного воздуха. Я все дрожала. Мне нужно было бежать в ванную.

Огр подал знак двум своим людям обыскать другие комнаты.

Возможно, они хотели украсть наши драгоценности. Найти их было бы нетрудно: они лежали в шкатулке с одинокой балериной на крышке, вместе с часами «Патек Филипп», которые папа надевал только по особым случаям. Вероятно, они искали деньги, которые мама хранила в одном из ящиков прикроватной тумбочки. Там лежали все наши наличные деньги, кроме тех, что она отдала Еве на всякий случай. Остальные средства лежали на банковских счетах в Швейцарии и Канаде.

Огр вернулся к граммофону.

Он поднял руку с иглой и внимательно осмотрел ее. Если бы он его сломал или если бы что-нибудь случилось с граммофоном, отец мог бы убить его. Этого он никогда не простит.

– Герр Розенталь вот-вот приедет, – сказала мама, и я изумилась, как она могла сказать им это, если знала, что они приехали, чтобы забрать его.

Внезапно мне стало ясно, что им не нужны ни деньги, ни драгоценности, ни картины, ни даже жалкий папин патефон. Им нужны были шесть квартир в нашем доме. Сначала они хотели напугать нас, а затем отобрать их у нас. Несомненно, главный огр переедет, будет спать в главной спальне, займет папин кабинет и уничтожит все наши фотографии.

Молчание.

Огр устроился в папином бархатном кресле и начал поглаживать его, словно проверяя качество ткани. Он не спеша поглаживал ручку кресла, тем временем пристально глядя на меня, таким образом безмолвно давая мне понять, что он готов ждать папу столько, сколько потребуется. Удобно устроившись, он принялся изучать фотографии семьи Штраус, развешанные на стенах по всей комнате.

До этого момента я не слышала, как скрипит лестница, ведущая в нашу квартиру. Но теперь скрип звучал так же громко, как церковные колокола. Момент настал.

Молчание.

Главный огр тоже слышал шаги и сидел неподвижно, наострив уши. С того места, где он сидел, ему была видна вся комната.

Еще один шаг, и я поняла, что папа за дверью. Мое сердце готово было разорваться. Мамино дыхание участилось; только мне было слышно, как она тихонько застонала позади меня.

Я хотела крикнуть: «Не входи, папа! Огры здесь! Один из них сидит в твоём любимом кресле!» Но я поняла, что это бессмысленно. Нам некуда было бежать. Берлин стал их карманным носовым платком; рано или поздно его обязательно поймут. А мама вот-вот упадет в обморок.

Огр и его свита заняли позицию за дверью. Я слышала, как ключ скребется в замке; он всегда немного заедал.

Молчание, все тянувшееся и тянувшееся.

Задержка беспокоила главного огра, который обменялся взглядом со своими людьми. Каждая секунда казалась мне часом: я даже обнаружила, что мне хочется, чтобы они забрали его раз и навсегда, чтобы он исчез вместе с ними. Еще несколько таких минут, и я сама упаду в обморок. Мне хотелось пойти в ванную, я не могла больше сдерживаться. Я не хотела наблюдать то унижительное зрелище, которое огр тщательно для нас приготовил, чтобы мы умоляли его и безутешно плакали. Мама не двигалась.

Дверь открылась.

И вошел самый сильный, самый элегантный мужчина в мире. Тот самый, который укладывал меня спать и целовал, когда мне было страшно. Тот, кто обнимал меня, прижимал к себе и клялся, что ничего не случится, что мы уедем далеко-далеко, на остров, до которого даже щупальца огров никогда не смогут добраться.

По выражению лица папы было видно, как ему жаль нас. Казалось, он спрашивал себя, как он мог поставить нас в такое положение. Мы уже пережили нечто подобное в ту ноябрьскую ночь, когда его арестовали. Но этот момент был решающим. Теперь назад дороги не было, и он знал это. Пришло время ему попрощаться с женщиной, которую он любил, с дочерью, которую он обожал.

– Герр Розенталь, мне нужно, чтобы вы сопровождали нас на станцию.

Папа кивнул, не глядя огру в лицо.

Он сделал несколько шагов ко мне, стараясь не смотреть на маму, потому что знал, что это подкосит ее. Я была тем человеком, кто мог сопротивляться, кто в конце концов останется без отца и защитит ее от призраков, ведьм и монстров. Но не от огров. Никто не мог защитить нас от них.

Он обнял меня и взял мои ледяные руки в свои. Я почувствовала, насколько теплыми они были. Дай мне немного своего тепла, папа. Прогони этот ужас из моих костей. Я обняла его изо всех сил. И расплакалась. Именно наши страдания и хотели увидеть огры.

– Моя Ханна, что мы сделали с тобой... – прошептал он срывающимся голосом.

Я крепко зажмурила глаза. Меня разлучали с человеком, который до сегодняшнего дня защищал меня; с тем, на кого мы возлагали всю надежду на наше спасение. Они забирали его. Мама обняла меня и притянула к себе. Я поняла, что с этого момента самый слабый человек в семье будет моей единственной опорой. Несмотря на слезы, я все еще крепко жмурилась.

– Не волнуйся, Ханна, – услышала я слова отца. Он все еще был здесь. Еще секунду. Еще минуту, пожалуйста. – Все будет хорошо, моя девочка.

Разве они не забрали его? Разве они не передумали?

– Посмотри в окно, – сказал папа. – Тюльпаны вот-вот расцветут.

Это были последние слова, которые я услышала. Когда я снова открыла глаза, он уже исчез вместе с огром. Весь дом слышал мои рыдания. Я крикнула из окна:

– Папа!

Никто меня не услышал. Никто не видел меня. Никому не было до меня дела.

Позади меня раздался шёпот. Это была мама.

– Куда вы его ведете? – спросила она дрожащим голосом.

– Это обычная процедура, – услышала я голос одного из огров, стоявшего на пороге. – Мы едем в полицейский участок на Грольманштрассе. Не волнуйтесь, все с вашим мужем будет в порядке.

Да, конечно. Они отправят его назад целого и невредимого. И он вернется и расскажет нам, что с ним обращались как с настоящим джентльменом. Что

вместо воды ему подали вино в большой, теплой, хорошо освещенной камере. Но я знала, что произойдет на самом деле: он будет спать в переполненной камере и будет голодать. И если нам повезет, мы изредка сможем узнавать новости о его жалком существовании.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Перевод с немецкого. (Здесь и далее прим. пер.)

2

Перевод с французского.

3

Перевод с немецкого.

Имеется в виду антисемитский еженедельник Der St?rmer.

Купить: https://tellnovel.com/korrea_armando-lukas/devushka-iz-germanii

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)